

*Вера Кривжановская*

# СВЕТОЧИ ЧЕХИИ

СЕДЬМАЯ КНИГА  


Вера Крыжановская-Рочестер  
**Светочи Чехии**

«Седьмая книга»

1904

## **Крыжановская-Рочестер В. И.**

Светочи Чехии / В. И. Крыжановская-Рочестер — «Седьмая книга», 1904

Власть, нарушающая заповеди Бога, не может быть Им признана. Европа, средневековье, начало XV века. Рыцари и знать Богемии и Моравии, восстали против папства и германского засилья в Чехии. Терпение лопнуло после сожжения заживо в 1415 году священника Яна Гуса и Иеронима Пражского, народных любимцев Праги и истинных рыцарей христианской веры. Захватывающая книга Веры Крыжановской насыщена многими интересными подробностями эпохи, не зря ведь говорят, что все романы Крыжановская писала в состоянии транса, под диктовку душ, живших во времена героев ее исторических хроник. Не поэтому ли историки отмечали удивительную правдивость в книгах автора, никогда не изучавшего историю? Еще Российская Императорская академия наук высоко оценила роман «Светочи Чехии», отметив его почетным отзывом. В наши дни проза Веры Крыжановской актуальна как никогда ранее, ведь многое в истории Европы и России нам предстоит пересмотреть заново...

© Крыжановская-Рочестер В. И., 1904

© Седьмая книга, 1904

# Содержание

Часть I	5
Глава 1	5
Глава 2	10
Глава 3	15
Глава 4	21
Глава 5	29
Глава 6	35
Глава 7	42
Глава 8	50
Конец ознакомительного фрагмента.	58

# Вера Крыжановская

## Светочи Чехии

*„Slavme slavne slavu Slavu slavnych“.*

*Из Slavy Dcery, Яна Колара*

*«Hörst du? Da drunten rauscht der Böhmerwald*

*«Noch liegt in stillverschlaft'ner Ruh'*

*«Die Welt des Slavenvolks! Wenn sie erwacht,*

*«Dann alterndes Europa – gute Nacht!*

*Max Haushofer.*

## Часть I

*В нем не было ни лжи, ни раздвоенья,*

*Он все в себе мирил и совмещал.*

*Поймет ли мир, оценит ли его?*

*Достойны ль мы священного залога?*

*Тютчев.*

## Глава 1

При слиянии рек Миесы и Радбузы, стоит старая Пльзень (Пильзен), ныне большой промышленный город, с многочисленными заводами, производящими всемирно известное пиво.

В конце XIV века в населении города, как и в большинстве чешских городов, преобладали немецкие бюргеры, отъедавшие и богатевшие, – в прямой ущерб истинным сынам народа, – благодаря тем бесчисленным вольностям, которыми короли завлекали их в страну.

В последние годы столетия, однако, дела изменились, и не к выгоде немцев; чешское городское население значительно возросло, да и многие паны покупали или строили себе в городах дома, и соперничество обеих народностей усиливалось.

В прекрасный летний день 1401 года, многочисленная кучка всадников проезжала по узким, извилистым улицам Пльзени. Во главе ее ехал человек лет тридцати пяти, худошавый, но хорошо сложенный, сильный брюнет, резкого итальянского типа. Бесспорно красивое лицо портила не сходявшая с него блаженно-слащавая улыбка; неприятное впечатление производили и его черные, хитрые глаза, таившие в себе что-то жестокое. Одет он был в красивый наряд из черного бархата; легкие, стальные латы защищали грудь, а голову украшала, щегольски сидевшая на его черных кудрях, шапочка с перьями. За поясом был заткнут кинжал с чеканной ручкой, а сбоку висел внушительных размеров меч.

Этому светско-воинственному наряду резко противоречил большой наперсный крест на золотой цепочке, свешивавшийся на грудь, и епископский перстень, надетый поверх перчатки из оленьей кожи. Епископ молодцевато сидел на прекрасном вороном коне и на ходу раздавал благословение прохожим. Следом за ним, четыре пажа везли его шлем, щит, копьё и прочее вооружение; дальше следовала внушительная свита и, наконец, несколько мулов, навьюченных поклажей, замыкали шествие.

Епископ остановился перед домом, расположенным неподалеку от городской стены. Дом был большой, с высокой, остроконечной крышей, и украшен деревянной резьбой. Когда-то он был построен разбогатевшим бочаром и ничем не отличался от прочих бюргерских домов; но

купивший его недавно граф Гинек Вальдштейн приделал к нему несколько зубчатых башенок и обнес толстой стеной, что придало скромному, мирному мещанскому дому воинственный вид укрепленного замка.

Прелата, по-видимому, ждали, и не успел его конюший стукнуть у калитки, как распахнулись ворота ограды и старый слуга выбежал навстречу, помог ему сойти с лошади и доложил, что граф в отсутствии, а что графиня ожидает епископа Бранкассиса и приказала проводить его преосвященство к себе.

Наверху лестницы, сама графиня приветливо, почтительно встретила высокого гостя и осведомилась о здоровье.

– Чувствую я себя, слава Богу, хорошо; а все-таки, прекрасная кухня, я попрошу у вас приюта на несколько дней. После долгой езды верхом, старая, еще во дни юности полученная рана стала меня беспокоить и хотелось бы отдохнуть.

– Весь мой дом – к услугам вашего преосвященства; извините, если не найдете у нас желанного удобства.

– Да, ведь, бедному монаху так мало нужно! Об одном я буду вас просить, это чтобы моего пажа, Риччиотто, поместили рядом со мной: он часто бывает нужен, и потому должен находиться под рукой.

Через час, изрядно подкрепившись хорошим ужином, епископ сидел наедине с хозяйкой дома, в ее комнате, вдали от всякого нескромного уха.

Графиня Вальдштейн была высокая, белокурая, худощавая женщина, лет под сорок. Лицо ее, с орлиным носом и широким, тонкогубым ртом, было мало привлекательно.

Даже большие, черные, красивые глаза не украшали ее, благодаря их хитрому и злому выражению; а напускное смирение не шло к той надменности, которой веяло от нее и которая, очевидно, лежала в основе ее характера. Графиня Яна приходилась родственницей епископу Бранкассису по женской линии, и наследие итальянской крови вылилось у нее в фанатическое ханжество и двуличность.

С нескрываемым нетерпением не сводила она глаз с гостя, но тот, казалось, не замечал ее беспокойства и равнодушно перебирал цепочку висевшего у него на шее креста и позвякивал шпорами, которых не успел еще снять. Наконец, она не выдержала и, нагнувшись к прелату, спросила вполголоса, по-итальянски:

– Что же, кузен Томассо, какие привезли вы мне новости?

Бранкассис выпрямился.

– Скверные, мадонна Джиованна! Мое посольство окончательно не удалось!

– Барон во всем отказал? – пробормотала графиня, бледнея.

– Почти. Да я вам подробно расскажу мою беседу с бароном Рабштейном. Прежде всего, я изложил ему, конечно, предположение насчет брака вашего сына с его дочерью Руженой. На это он отказал наотрез, добавив, что малютка уже просватана за сына Генриха фон Розенберга, и обручение их должно состояться на днях. Да и помимо этого, молодой граф в зятя ему не годится потому, что он легкомыслен и дерзок, – словом, так же мало ему симпатичен, как и ваш муж, религиозные и политические убеждения которого Рабштейн не разделяет. „Вместо того, чтобы поддерживать партию великих баронов, защищающих свои права, – сказал он мне, – Гинек, где только может, вредит нам, цепляется за Вацлава и чуть было не помешал его захвату в Бероуне”.

Бранкассис остановился, заметив волнение графини и красные пятна, выступившие на ее лице.

– Простите, кухня, – продолжал он, – что я передаю вам столь неучтивые отзывы, но мне казалось необходимым окончательно выяснить положение дел.

– Конечно, конечно, продолжайте, – прошептала она, нервно перебирая своими длинными, костлявыми пальцами опоясывавший талию черный с золотом шнурок.

– Итак, оставив вопрос о свадьбе, я сообщил барону ваши денежные затруднения, вызванные нашим тревожным временем, и, во имя близкого родства, просил его прийти вам на помощь. В этом он оказался уступчивее. Сказав, что уже неоднократно выручал своего двоюродного брата, и что этот раз будет последний, он согласился погасить ваш долг тому наглому бюргеру из Праги, который вас теснит. Подобная уступка, конечно, имеет свою цену, но... вы сами понимаете, что этого недостаточно, чтобы поставить вас на ноги.

– А в таком случае, что же делать? – нерешительно прошептала графиня, умоляюще смотря на него.

Хитрый, испытующий взгляд блеснул на нее из-под опущенных век прелата.

– Мне кажется... единственный выход, – это вернуться к проекту, который мы с вами обсуждали перед моей поездкой к барону, – глухо ответил он.

Графиня тяжело дышала, словно ей не хватало воздуха. Руки ее так сильно дрожали, что платок, которым она порывисто отирала лоб, едва не выскользнул из пальцев.

– Это единственное, как вы говорите, средство – ужасно, – пробормотала она прерывающимся голосом, – Но я должна пожертвовать собой, чтобы обеспечить будущее моему сыну, – закончила графиня, усилием воли подавляя охватившее ее волнение.

– Я понимаю вашу нерешительность и ценю благочестивые опасения, разрывающие ваше христианское сердце, хотя вами руководит одна лишь материнская любовь, – заметил епископ, и, подняв глаза к небу, продолжал: – Но, ведь, на всякий грех существует милосердие. Разве вы забыли, что наша святая мать-церковь приемлет грешника, как отец блудного сына, и, через посредство наместника и земного представителя Христа, заново облакает его невинностью.

Яркая краска залила бледное лицо графини, и луч радости загорелся в ее глазах.

– Возможно ли? – вскричала она, набожно сложив руки. – Вы заручитесь у святого отца отпущением греха, который я вынуждена совершить из любви к семье?

– Да, духовная дочь моя и сестра! От вас зависит еще сегодня же получить эту высочайшую милость. Мой дядя, кардинал Косса, снабдил меня несколькими индульгенциями и разрешил мне располагать ими по моему усмотрению. Но вы знаете, что отпущение такого греха, какой вы готовитесь совершить, стоит дорого; небо требует щедрого вознаграждения за свое милосердие...

– Знаю, знаю, нужды нет! Для такого благодеяния цены не существует, – радостно ответила она. – Так уж я попрошу у вас полную индульгенцию для моего мужа, сына и меня, и заплачу вам за нее, сколько хотите. Кроме того, я умоляю ваше преосвященство дать мне еще особое отпущение, и позволить мне предоставить в ваше распоряжение некоторую сумму для бедных.

На лице Бранкассиса расцвела приятная улыбка.

– На все согласен, кузина Джиованна, и, если небо окажется столь же великодушным к вам, как вы к нему, то особое место в раю за вами обеспечено. Вернемся же, однако, к нашим делам. Терять времени нам нельзя! Я не сказал еще вам, что прибыл сюда в сопровождении барона фон Рабштейна, который едет по делам в Прагу. Расстались мы при въезде в город; я поехал сюда, а он в гостиницу „Золотой телец“. Нам надо торопиться, потому что Рабштейн на заре уезжает дальше.

– Теперь, когда совесть спокойна, за энергией дело не станет. Само небо, очевидно, нам покровительствует, внушив барону мысль остановиться в „Золотом тельце“. Служанка гостиницы, видите ли... исповедница... старая знакомая моего духовника, отца Иларие, и слепо ему повинуется. Она-то и поднесет барону угощение по заслугам; но уверены ли вы, однако, что обещанное вами средство подействует так, как мы с вами хотим?

– На этот счет будьте спокойны, мое средство верное! А пока вы предупредите отца Иларие, чтобы он никуда не отлучался и ждал моего казначея, отца Бонавентуру, от которого получит лекарство и необходимые наставления.

Нагнувшись к графине, он шепнул:

– Не беспокойтесь, если *он* уедет завтра из города. Он заболеет в дороге, что будет еще удобнее, так как к вам же придут за врачебной помощью, и тогда я приму его на свое попечение. Все устроится, как нельзя лучше!

Графиня поспешно встала, но Бранкассис остановил ее.

– Кстати, сообщали вы что-нибудь графу о нашем проекте?

– Нет! Гинек мог бы воспротивиться, а то и просто выдать нас за какой-нибудь пирушкой у короля, где всегда так много пьют, – ответила графиня с некоторым замешательством.

– Превосходно! Не всегда, ведь, в вине черпается мудрость! Ваша осторожность делает вам честь, графиня, – заметил прелат с легким смехом. – А когда возвращается ваш муж?

– Он уехал по неотложному делу и вернется не раньше послезавтра.

– Еще лучше! Мы оставим его в стороне и предоставим ему мирно пользоваться опекой над прекрасной Руженой.

Благословив графиню, почтительно приложившуюся к его руке, епископ удалился в отведенные ему комнаты, куда немедленно был потребован отец казначей.

После краткого разговора, Бонавентура, – маленького роста монах-итальянец, с лисьим лицом, – торопливо вышел из комнаты и направился к духовнику графини, отцу Иларию.

Оставшись один, Бранкассис долго задумчиво ходил по комнате, потом сел к столу и принялся сверять счета. Оставшись, видимо, доволен результатами, он закрыл свою записную книгу, спрятал ее в шкатулку и позвал:

– Риччиотто!

Вошел паж, нарядно одетый в бархатный, фиолетового цвета костюм, с вышитым гербом епископа на груди. Это был красивый юноша, с бледно-матовым лицом, длинными, черными кудрями, рассыпавшимися по плечам, и черными, жгучими глазами; стройная фигура его была гибка и грациозна, как у женщины.

– Скажи моим людям, что они мне на сегодня больше не нужны и могут идти на отдых, а сам возвращайся меня раздевать.

Риччиотто ушел и быстро вернулся назад, раздел своего господина и, подав ему широкий плащ на шелку, принес затем и поставил на стол вино и два кубка. Наконец, тщательно заперев дверь на задвижку, он стал перед Бранкассисом и, подбоченясь, вызывающе спросил:

– Значит, официальная служба кончилась. Так, что ли, Томассо?

– Да, чертенок, теперь моя начинается, – ответил тот, привлекая пажа к себе на колени и нежно целуя его.

Налив в кубок вина, он стал по глоткам поить своего слугу, угощая его и сладостями, лежавшими на серебряном подносе. Прекрасный паж пьянел и становился все веселей и развязней: грязные шутки и непристойные остроты свободно лились из его уст, под стать любому солдату, да и епископ в долгу не оставался. Эта оргия вдвоем, при запертых дверях, была ему, видимо, по душе, он наслаждался; но в полный восторг его привела бешеная тарантелла, которую псевдо-Риччиотто проплясал перед ним, в образе древней богини, и только проблеск осторожности удержал еще Бранкассиса от того, чтобы не вторить пляске лихой неаполитанской песней...

Было уже поздно, когда благочестивый епископ и его „верный паж”, наконец, разошлись по своим комнатам, да и то разлучила их ссора. Вино и любовь придали смелости.

– Ты что там еще стряпаешь с Бонавентурой? Бьюсь об заклад, что вы опять кому-нибудь открываете двери небесные.

– Я бы тебе посоветовал, дочь моя, – грубо ответил сразу отрезвевший Бранкассис, – видеть, слышать и обсуждать только то, что касается твоей службы тайной и явной. Смотри, как бы для тебя вдруг не открылись двери неба, или, по крайней мере, *in pace!* Маргариту же Анджели, беглую монахиню, приютит у себя любой попутный монастырь!

Маргарита-Риччиотто разозлилась и, наградив своего духовного отца тумачом в спину, убежала в свою комнату.

На следующий день графиня и епископ еще сидели за обедом, поданным, по обычаю времени, в полдень, когда Бранкассису доложили, что один из его людей привел оруженосца барона Рабштейна, которого послали за врачом для пана, тяжело заболевшего в пути и лежавшего теперь на постоялом дворе, в нескольких часах пути от города.

На несчастье, посланный не нашел городского лекаря, отозванного к кому-то в окрестный замок. В раздумье, он не знал, что делать, как вдруг встретил одного из слуг епископа, и тот, узнав, в чем дело, посоветовал обратиться за помощью к его преосвященству, который остановился в Пльзене на несколько дней и, разумеется, пошлет на помощь своего врача, отца Бонавентуру.

Услыхав известие о болезни барона Рабштейна, епископ удивился и опечалился. Позвав к себе оруженосца, он тщательно допросил его и сказал, что не только тотчас же пошлет своего врача, но и сам поедет осмотреть больного и проследить за его переносом в город.

Присутствовавшая при этом графиня тоже, казалось, приняла горячее участие и рассыпалась в похвалах величию души и христианскому милосердию Бранкассиса, который, забыв собственную усталость и страдание, причиняемые ему раной, спешил к одру больного, неся ему на помощь веру и науку.

– У меня есть удобные носилки, которые я отдаю в распоряжение больного, – добавила она после своей прочувствованной речи. – Водворяя его у нас, я действую от лица моего супруга, который, я уверена, поступил бы так же. В правом крыле дома есть отдельное помещение в три комнаты, и если недуг барона Светомира окажется тяжким и продолжительным, ему будет здесь гораздо покойнее, чем в шумной гостинице. И я, и моя прислуга будем за ним ухаживать.

– В этом предложении я узнаю ваше золотое сердце, дорогая кузина, и, разумеется, барон с благодарностью примет ваше гостеприимство, – сказал епископ, торопливо прощаясь, чтобы снарядиться в путь.

## Глава 2

Спускался ясный и тихий летний вечер. Багровое солнце садилось, огнистым блеском золотя все кругом. По дороге в Пльзень трусили два всадника.

Один из них был духовное лицо, в черной сутане с широкими рукавами и суконной шапочке. Тонкое, бледное лицо его заканчивалось к низу остроконечной бородкой, и было чрезвычайно привлекательно. Лоб был широкий, рот строго очерчен, большие, задумчивые, ясные глаза смотрели кротко, словно подернутые тихой грустью. В нем был виден мыслитель-идеалист, душа прямая и честная, не допускающая сделок с совестью, хотя и склонная к увлечениям на пути веры, любви и правды. Бессознательная, но величавая простота сказывалась в каждом его движении.

Спутник его был редкой красоты молодой человек, высокий, стройный и удивительно хорошо сложенный, с черными, как вороново крыло, волосами. Большие, темные глаза светились умом и могучей волей. Одет он был в светское платье – изысканный наряд тонкого коричневого сукна; широкий черный плащ развевался за плечами и сбоку виднелся меч со стальной рукоятью, а спереди, за поясом, заткнут был кинжал. Он вел в поводу лошадь с вьюком, да и за седлом каждого из всадников приторочено было по чемодану. Спутники оживленно разговаривали.

– Так вот, вкратце, главнейшие факты моего пребывания в Оксфорде, – закончил свою речь молодой человек. Когда мы будем в Праге, я расскажу тебе, в свободное время, много интересного, мистр<sup>1</sup> Ян; а теперь я еще в себя не могу прийти от радости, что так неожиданно встретил тебя на большой дороге. В сущности, ты не сказал мне, откуда и куда ты едешь.

– Я ездил в Гусинец по семейному делу: устроить наследство моей двоюродной сестры, Катерины; а оттуда поехал навестить приятелей и проповедать слово Божие разным беднякам, о которых священники их не радеют вовсе. Господи, Боже мой, на какие безобразия я наткнулся! Право, подчас невольно спрашиваешь себя, не пришли ли времена антихриста? Но, видя глубокую веру бедного люда и ту восторженную радость, с которой он слушает проповедь на родном языке, в сердце расцветала надежда на лучшие времена, и я со слезами молил Господа вернуть мир церкви и возродить ее.

– И на твою молитву, конечно, отзовется всякое истинно христианское сердце. Будем надеяться, что милосердый Бог не забудет Своего верного чешского народа и избавит его от немецкой саранчи, которая грабит, угнетает и развращает его. Откуда, как не от них, идут все зло, все несчастье и несогласия?

– Не торопись, Иероним! Много зла, конечно, чинят нам иноземцы, но, ведь, и мы грешим довольно и заслужили наказание!

– Да существует ли наказание, большее, чем эти проходимцы, – вспыхнул Иероним, – есть ли пределы их наглости и жадности? Когда их разбили на ратном поле, они вернулись под видом колонистов, забирая в свои руки земли, должности и привилегии. Разве не они хозяева в наших городах? В университете они делают, что хотят, и когда-нибудь нас вовсе выгонят оттуда, если этому вовремя не положить конец! Чех уж стал чужим в собственном отечестве: он работает, а немец управляет, тот сеет, а этот собирает! Даже язык наш они хотели бы у нас отнять!

При этих словах лицо священника чуть покраснело, брови сдвинулись, и в его ясных глазах вспыхнуло неудовольствие.

– Ты прав, Иероним, все это возмутительно! Хоть и грех, а часто негодуешь, при виде того, какие гадости делают чехам в одном только университете. Стычки между профессорами

---

<sup>1</sup> Магистр.

и несогласие немецких студентов с чешскими вошли уже в обычай, а ректор всегда на стороне своих немцев.

Они замолчали, занятые своими мыслями. Красавец-всадник, которого спутник его называл Иеронимом, первый нарушил молчание.

– Не попадет ли нам по дороге гостиница, мистр Ян? Мы, ведь, проехали добрый кусок, и я начинаю чувствовать потребность в пище и отдыхе. Помнится, тут неподалеку должен быть где-то постоялый двор.

– Пьяные солдаты подожгли его в прошлом году и он сгорел дотла. Нет, до гостиницы далеко, а вот скоро будет селение, и мы найдем пристанище в доме священника, который уже год отсутствует, по словам оставленной при доме женщины. Там мы можем спокойно отдохнуть.

– А где же скитается этот благочестивый пастырь церкви? – спросил, смеясь, Иероним.

– Видишь ли, у него еще два прихода<sup>2</sup> и когда его нет в одном, он сказывается в другом, так что проверить его трудно; зато вот десятину собирать, говорят, он удивительно исправен.

– И, вероятно, очень требователен в этой жатве, особенно, если он немец.

– Не знаю, из каких он; кажется, что он младший в семье и посвящен был чуть ли не семи лет от роду.

– Предусмотрительно и, должно быть, дорого обошлось родным его. Ведь епископы изрядно берут за приходы, – им тоже надо оплатить свои места. Впрочем все попы делятся с Римом, то есть, я хочу сказать с папой, или лучше, папами, и это может служить извинением приходским священникам.

– Да, симония, как проказа, снedaет церковь. С отвращением видишь безумную роскошь, жадность и разврат этих людей, осмеливающихся называться последователями Христа – Царя Небесного, который ходил босой, презирал стяжание и сказал страшное слово: „Легче верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царство Небесное”.

– Например, архиепископ пражский, у которого свой бургграф, свои камергеры, канцлер, маршал, казначей и т. д., который пользуется тремя тысячами марок дохода, не считая оброка в натуре, барщины и продажи бенефиций, отпусков и тому подобных прибылей. Как мало он походит на своего Божественного Учителя, – заметил Иероним и вдруг залился смехом.

– О чем ты смеешься? Разве грустный предмет нашего разговора может подать к этому повод?

– Прости, дорогой мистр Ян, мой невольный смех, но мне вспомнилась смешная история Николая Пухника<sup>3</sup>, достойного каноника пражского, чернинского, оломуцкого, настоятеля святого Николая и Жемницы Моравской, прославившегося своей скупостью.

Улыбка появилась и на лице Гуса.

– Ах, да! Это когда король, под веселую руку, дозволил ему забрать столько золота, сколько может унести, а Николай так набил себе все карманы и сапоги, что был не в состоянии двигаться. Смешной и грустный случай!

– Нет, самое-то лучшее, это – апофеоз, когда Вацлав, смеясь, как сумасшедший, велел у него все отнять, а самого выгнал вон. У короля бывают подчас грандиозные мысли, и я так, право, люблю его, несмотря на его слабости, – он все-таки расположен к Чехии! Но вот, кажется, мы, наконец, и приехали. Смотри, Гус, – там, направо, бедные лачужки; это, вероятно, и есть то селение, про которое ты говорил, а вон, у дороги, рядом с церковью, и каменное здание, должно быть, дом священника.

– Да, да, – ответил Гус, сворачивая на тропинку к селению.

---

<sup>2</sup> Tomek. Dejepis mesta Prahy, III, стр. 140–145.

<sup>3</sup> Tomek. Dejepis mesta Prahy, стр. 175.

Прочная и высокая каменная стена окружала дом; ворота были раскрыты настежь, и на дворе, у колод с сеном, привязано было десятка с два оседланных лошадей. Подле лежало несколько свор собак, а на телеге, под навесом, видна была пара убитых оленей и кабан.

– Какая-то охотничья компания заняла дом раньше нашего. Видишь, окна освещены, а судя по тому, как они шумят, пир, должно быть, в самом разгаре. Придется повернуть назад, – не без огорчения заметил Гус.

– Вот еще! Где двадцать человек сыты, там на двух хватит, а я умираю с голоду. Слезай, брат Ян, и пойдем просить охотников принять нас. Это, должно быть, соседние паны, – ответил Иероним, ловко соскакивая на землю.

Гус последовал его примеру, и они, привязав лошадей, направились к дому, откуда неслся беспорядочный гул голосов, смех и песни.

В ту минуту, когда они всходили по каменным ступеням крыльца, дверь дома неожиданно распахнулась и на пороге, держа в руках фонарь, появился тучный монах, с красным, жирным лицом и подслеповатыми, мигающими глазами. Из-под темной рясы, подоткнутой за веревку, служившую ему поясом, видны были толстые ноги, обутые в сандалии, к которым ремнями привязаны были большие шпоры.

Он, видимо, был пьян и качался, придерживаясь за дверной косяк, чтобы не упасть: фонарь в его руке болтался во все стороны, ряса была залита вином и блестела пятнами жира.

– Ну, вот, Господь посылает нам еще гостей, а один даже собрат, – заплетающимся языком процедил он и разразился пьяным смехом. – *Salve, salve!* Войдите, отец мой, и вы, достойный господин, места для всех хватит и что поесть найдется для приятелей.

Он посторонился, пропуская их, и Гус с нескрываемым отвращением последовал за Иеронимом в дверь, которая вела в прихожую и за ней в большую залу.

Войдя, оба они остановились, пораженные. Посреди комнаты, большой стол заставлен был кушаньями и вином. Обьедки пирогов и дичи и валявшиеся на полу пустые бутылки и кружки красноречиво свидетельствовали, что попойка шла уже давно, а раскрасневшиеся лица указывали на обильное возлияние.

В эту минуту еда уже кончилась; сдвинув блюда, на конце стола играли в кости и насыпаны были груды золота, серебра и меди.

Компания собралась удивительная: монахи и, должно быть, священники, судя по тонзуре, которая одна и выдавала их духовное звание, несколько воинов и женщин; среди последних три монахини, беспорядочный наряд и бесстыдные позы которых доказывали, как они низко пали. Сердину стола занимал молодой еще человек, лет тридцати пяти, но уже совершенно плешивый; обрюзгшее, помятое лицо его говорило о бурно проводимой жизни. На коленях у него сидела цыганка в пестрой юбке, с голыми руками и шеей и распущенными волосами, черной гривой спускавшимися по плечам.

В ту минуту, когда Гус и Иероним показались на пороге, она подняла в руке рожок и с громким смехом выбросила на стол кости. При появлении незнакомцев, царивший в зале гам вдруг смолк.

– Смотрите, Бертольд ведет нам подкрепление: воина и нашего же собрата – шельму, как и мы! – громко закричал человек, сидевший посредине стола. – Пожалуйте, уважаемые путешественники! Дитрих фон Штерн, хозяин здешних мест, благочестивый настоятель этого жалкого прихода, приглашает вас на свой скромный ужин. Ты, воин, распорядись сам, а ты, брат мой по стихарю и рясе, садись вон там, около Зденка, который все равно скоро свалится под стол и оставит тебе в наследство прекрасную сестру.

Иероним молчал, нервно поглаживая свою черную бороду; зато бледное лицо Гуса стало багровым, глаза загорелись гневом и, шагнув к столу, он стукнул по нему кулаком, так что от удара задрожала посуда.

– Негодяй, позорящий облачение, которое носишь! – грозно крикнул он. – Как тебе не стыдно твоего сквернословия, как не стыдно держать на коленях эту девку и окружать себя сборищем скотов! Опомнись, отступник обетов священнических! Ты утопаешь в пьянстве, как последний солдат, и обратил дом свой в кабак, в притон бесчестья...

Дитрих фон Штерн слушал этот неожиданный суровый выговор с раскрытым от удивления ртом и тупо смотря на говорившего. Но это оцепенение вдруг сменилось приступом гнева.

– Га! Ты смеешь так говорить со мной, негодный уличный болтун! Вот я проучу тебя, как оскорблять меня в моем собственном доме, – заревел Дитрих в ответ, стараясь встать и отшвырнув от себя цыганку, которая с криком свалилась на пол.

С трудом поднялся он, наконец, на ноги и стал тащить из ножен висевший у него сбоку охотничий нож.

– Я тебе язык отрежу, чтоб ты помнил, как читать наставление не сапожнику, как ты, а Дитриху фон Штерну, – продолжал он, шатаясь, идя к Гусу с поднятым ножом в руках.

В это время один из пьяных монахов схватил глиняную кружку и пустил ею в Гуса, но промахнулся, и она с грохотом разлетелась вдребезги, ударившись о дверной косяк, пальца на два от головы Иеронима. Тогда тот выхватил меч, одним прыжком очутился перед Гусом и заслонил его собой; блестящий клинок завертелся перед искаженным злобой лицом Дитриха, который невольно попятился и грузно шлепнулся на стул.

– Успокойте ваш хмель, преподобный отец Дитрих, а выслушанную вами истину примите к сведению! Борьба со мной может плохо кончиться для вас и для ваших достойных друзей, – презрительно крикнул он. – Пойдем, Ян, скорее, из этой берлоги!

– Да, отряхнем прах от наших ног! Кусок хлеба под этой кровлей хуже всякой отравы, – дрожащим от волнения голосом ответил Гус.

Не обращая внимания на сыпавшиеся на них крики и ругательства, они вышли из комнаты и в прихожей Иероним чуть не споткнулся об отца Бертольда, растянувшегося на полу и громко рыдавшего. Он бил себя в грудь и причитал: „*Maе culpa! Mea Culpa!* Согрешил я против тебя, Господи Боже мой!” С омерзением перешагнули они через пьяницу, поспешили сесть на лошадей и поехали прочь со двора. Из дома слышался адский грохот, вперемежку с воплями женщин.

Несколько минут они ехали молча.

– Вот, хороший пример того, что случилось с церковью, – сказал Иероним, убавляя рысь. – Хотя со стороны Дитриха нечему удивляться. Три года тому назад, в Праге, я был свидетелем такого безобразия, которое ясно показало, на что он способен. Ты знаешь, я проживал тогда у моей тетки, в Малой Стране (городе), и вот, однажды вечером, возвращаемся домой, я и мистр Якубек, вдруг слышим, впереди нас крики, смех, свист и видим толпу народа, ремесленников, мальчишек и т. п. Мы прибавили шагу, чтобы посмотреть, что случилось, и видим перед собой пьяного человека с тонзурой на голове, – тогда еще у него было достаточно волос, – нагишом, выписывающего зигзаги. Народ издевался над ним и бросал в него грязью, а он отвечал отборной руганью и плевал на толпу. Его непременно бы отколотили, если бы негодяй не скрылся в ворота какого-то дома, откуда уже более и не появлялся. Якубек себя не помнил от гнева, тотчас же навел справки, и мы узнали, что этот безобразник, прозывавшийся Дитрихом фон Штерном, был священником, приехавшим в Прагу добывать себе место каноника, а покуда скитался по кабакам, да разным притонам и вел дьявольскую игру. В этот день ему не повезло, и он, проигравшись до рубашки, голым возвращался в Вышеград, где жила его любовница<sup>4</sup>.

Поэтому случаю Якубек произнес громоносную речь, но архиепископ затушил дело, а Дитриху приказал убраться вон из города. Однако, место каноника пражского капитула он все-таки не получил.

---

<sup>4</sup> Ernest Denis. Huss et la guerre des hussites, стр. 13.

– Вот ты видел пьяного священника голым на улице, а я недавно видел такого, который отказывался хоронить бедных, пока не нашлось, кому за них заплатить<sup>5</sup>. Который из них лучше, я не знаю, – с горечью в голосе ответил Гус.

– По милости этого проклятого Дитриха, мы опять на большой дороге и уж на всю ночь. А между тем, кони больше нашего нуждаются в корме и отдыхе.

– Ну, надеюсь, что мы скоро найдем себе пристанище. Я вспомнил, что здесь неподалеку стоит замок барона Рабштейна, с которым я знаком по Праге, – успокоил его Гус. – Барон принимал меня у себя с величайшей благосклонностью, а с дочерью его, маленькой Руженой, мы даже подружились. Под его гостеприимным кровом нас примут с честью.

---

<sup>5</sup> Tomek. Dejepis mesta Prahy.

## Глава 3

Было уже совсем темно, когда путники добрались, наконец, до замка Рабштейн, – внушительной феодальной крепости, – и постучались у ворот. Узнав имена прибывших, старый кастелян не замедлил впустить их, несмотря на отсутствие хозяина и позднее время.

Их повели сначала в столовую и, пока приготавливали комнаты для ночлега, подали ужин, во время которого кастелян рассказал, что дней десять тому назад барон отправился в Прагу, а сегодня прохожий коробейник принес известие, что пан заболел по дороге и доставлен в Пльзень знакомым епископом.

– Может быть, это и неправда, а все-таки известие о болезни барона нас очень тревожит, – закончил верный слуга со слезами на глазах.

В эту минуту дверь неожиданно распахнулась и в комнату вбежала девочка, в сопровождении пожилой женщины в белом чепце. Ребенок был очарователен. Большая для своих девяти лет, но стройная, грациозная и воздушная, она производила впечатление чего-то неземного. Тонкое, миловидное, бледно-матовое личико ее освещали большие, темно-голубые глаза, казавшиеся почти черными и задумчиво смотревшие из-под густых, лучистых ресниц. На девочке было белое, шерстяное и длинное, как тогда носили, платье, а на голове голубая бархатная шапочка, из-под которой спереди выбивались мелкие завитки волос, ниспадавших с боков и сзади волнистой, золотистой массой. Глазки ее вспухли и покраснели, а на бледном личике отражалось переживаемое ею горе.

Вырвавшись из рук пытавшейся удержать ее няньки, и не обращая внимания на Иеронима, девочка бросилась к Гусу.

– Ты привез мне известие об отце, мистр Ян? Лучше ему? – тревожным голосом спросила она. – Коробейник говорил, что он очень болен и что его несли на носилках.

Гус сочувственно взял в свои руки похолодевшие ручки ребенка.

– Милая Ружена, я не из Пльзени, а только еще еду туда и ничего не знаю о болезни твоего отца. Уповай на милосердие небесное и успокойся.

Ружена подняла на него свои чудные, полные слез глаза.

– Ты думаешь, Бог не допустит, чтобы отец умер, покинув меня одну?..

Рыдание заглушили ее слова.

– Вот она все плачет с той самой минуты, как получила печальное известие. Я просто не знаю, что и делать! Как только услышала она звук рога у ворот, так я сейчас же должна была ее одет и вести сюда. Будто каждый может знать, что случилось с паном, – грустно заметила няня.

Тронутый горем девочки, Гус привлек ее к себе и стал утешать, говоря ей о мудрости и благости Господа и о неисповедимых путях Его, которых человек, по слепоте своей, часто не признает, но которые всегда ведут к добру, особенно того, кто с твердой верою вручает жизнь и судьбу свою создавшему его Отцу Небесному.

Глубокий, кроткий голос и то обаяние, которым веяло от молодого проповедника, благотворно подействовали на ребенка.

Расстроенное личико Ружены прояснилось; она умильно сложила ручки и доверчиво положила свою кудрявую головку на плечо утешителю. Теперь она заметила также Иеронима и дружески его приветствовала.

Обрадованный успокоительным действием своих слов, Гус убедил Ружену ложиться спать, и та послушно согласилась было уже идти, как вдруг глухой шум донесся по соседству из коридора.

Слышались беготня, крики и причитания. Наконец, дверь отворилась, и на пороге появился старый оруженосец, весь в пыли и бледный; а за ним растерянный, с заплаканным лицом, кастелян.

– Ах, преподобный мистр Ян, – дрожащим голосом сказал кастелян. – Какое горе, какое страшное горе! Обожаемый пан наш скончался!

Завидев оруженосца отца, Ружена хотела к нему броситься, но мрачный, убитый вид его напугал ее, и она застыла на месте. Услыхав про смерть отца, Ружена глухо вскрикнула, беспомощно всплеснув руками; головка ее запрокинулась, и она повалилась бы на пол, если б няня вовремя ее не подхватила.

Присутствующие кинулись к ней на помощь, но Ружена была без чувств; ее так и унесли, не приводя в сознание.

Гус, глубоко потрясенный этим трагическим случаем, велел оруженосцу Матиасу идти за ним, рассказать все подробности неожиданной кончины барона, которому возраст и крепкое здоровье сулили еще долгие годы жизни.

Матиас подробно описал все обстоятельства, сопровождавшие смерть пана, с трудом удерживая душившие его слезы.

Услыхав имя Бранкассиса, Иероним привскочил.

– Как, Бранкассис, племянник Балтазара Коссы, замешан в эту историю? О, тогда... – неодобрительный взгляд Гуса остановил его. – Я знаю епископа, но его присутствие здесь меня удивило; я считал, что он в Италии, – изменив тон, поправился Иероним.

Горькая усмешка мелькнула на устах оруженосца, но он продолжал свой рассказ и, закончив его, попросил позволения уйти.

– Что ты хотел сказать твоим неосторожным восклицанием по поводу Бранкассиса? – спросил Гус, когда они остались одни.

– Я не мог удержаться! Мне вдруг пришла в голову мысль, что внезапная болезнь барона и затем его смерть неестественны, а усердное ухаживанье епископа за больным – подозрительно! Во время поездки в Италию я узнал про Коссу, бывшего тогда архиепископом Якинским (Анконским), невероятные вещи, от которых волосы встают дыбом. Так, он был пиратом и покинул это дело, чтобы сделаться кондотьере. Не знаю, что заставило его дезертировать и облачиться в рясу, но известно, что и в ней он продолжает свое бывшее ремесло, т. е. грабит и развратничает. Племянник же этого разбойника, говорят, – правая рука своего дядюшки и, разумеется, он не стал бы утруждать себя, разъезжая по чешским дворянам, если бы здесь не было для него выгодной добычи. Что Вальдштейн назначен опекуном, тем более странно; ибо всем известно, что он и покойный барон были политическими врагами. Рабштейн, ты сам знаешь, был горячим сторонником „союза панского” и пособлял Розенбергу захватить короля в Бероуне, тогда как Гинек Вальдштейн – влиятельный член придворной челяди, окружающей Вацлава. Все это достаточно подтверждает мои подозрения!

– Милосердный Боже, охрани невинную сироту во всех этих мерзостях, – прошептал Гус, набожно крестясь.

Опустившись затем на колени, он стал творить вечернюю молитву и лег спать, так как падал от усталости.

По выходе из комнаты приезжих гостей, Матиас вынужден был в людской еще раз повторить подробный рассказ о смерти барона; затем с ним долго говорил кастелян. Освободившись, наконец, он направился в покои Ружены и, несмотря на поздний час, тихо постучался в дверь, рядом со спальней девочки.

Дверь тотчас же отворилась.

– Я так и думала, что ты зайдешь, Матиас, и поджидала тебя, – шепотом сказала няня.

– Хотелось поговорить с тобой о постигшем нас несчастье. А что делает наша бедная пани?

– Спит наш ангел! Отчаяние и слезы в конец истощили ее. Сначала, как ее принесли сюда, я думала, уж не помешалась ли Ружена; потом она затихла, да так и уснула у меня на коленях.

Оруженосец вошел и сел у стола, на котором горела масляная лампа.

Иитка и Матиас приходились двоюродными братом и сестрой и были друзьями с детства. Оба они родились и выросли в замке и всю жизнь провели на службе у семьи Рабштейнов, которой были слепо преданы. Покойный барон Светомир знал и ценил их испытанную верность и отличал своим доверием, походившим даже на дружбу.

В комнате воцарилось молчание. Иитка тихо плакала, а Матиас, облокотясь на стол, сидел, мрачно нахмурившись.

– Ну, расскажи же, наконец, как умер наш дорогой пан. Я понять не могу, откуда взялась эта болезнь. Ведь, уезжая, он был здоров, как рыба в воде.

– Поэтому-то я убежден, что барон пал жертвой гнусного злодейства, – прошептал Матиас, нагибаясь к оторопевшей при его словах Иитке.

– Злодейство... злодейство... – беззвучно шептала она дрожавшими губами. – Да кто же мог его убить, – его, доброго, великодушного? Кому от этого какая польза?

– О, польза-то ясная! Слушай только, я тебе все расскажу, потому что уверен в твоём молчании, а ты уж потом суди сама, основательны мои подозрения или нет. Помнишь, как мне не нравился неожиданный приезд итальянца-епископа. Не верю я этим фальшивым, хитрым, да вкрадчивым иноземцам; точно вот собака ползет к тебе, чтобы укусить! Так вот, накануне отъезда, раздевая барона, я постарался ловко выпытать, зачем приезжал итальянец; а пан-то наш умен был, сейчас догадался и засмеялся. Хлопнул меня по плечу, да и говорит: „Знай, старая лиса, епископ приезжал ко мне послом от моего брата Гинека, чтобы выудить у меня денег и с предложением отдать Ружену за его сына Вока. А я не намерен ни разоряться для Вальдштейнов, ни выдавать дочери за его повесу-сына, что и высказал ему. Взялся же он вести переговоры потому, что приходится сродни самой графине. Ну, так ступай теперь и спи спокойно”. До Пльзни пан был совсем здоров, и болезнь с ним приключилась после ужина в „Золотом Тельце”. Уж когда мы тронулись в путь, на заре, я заметил, что барон не здоров и с трудом держится на седле; а подъехав к первому постоялому двору, он лишился чувств. Я тотчас же послал одного из наших людей в город за лекарем; барон никого уж не узнавал и горел, как в огне. Вместо врача, приехал сам епископ со своим казначеем. Пана положили на носилки и перенесли в город, в дом графа Вальдштейна. Все это очень подозрительно; епископу же я не доверяю, с тех пор, как открыл, что один из пажей его – переодетая женщина.

– Какая мерзость!

– Да, да! Ты понимаешь, Иитка, что это открытие не прибавило моего к нему уважения. И вот, когда ночью негодяй отослал всех нас, сказав, что сам будет ухаживать за больным, меня охватила такая тоска, что я глаз сомкнуть не мог. Услыхав ходьбу и говор в комнате барона, я, на всякий случай, пробрался рядом в комнату, что-то вроде кладовой, и прислушался. Говорили они хоть и тихо, а все же я понял, что наш пан диктует духовную, которую епископ потом перечел. Всего я не расслышал, но помню ясно, что опекуном Ружены назначался Розенберг, у которого она и должна воспитываться до своего замужества. Вообрази же себе, что я почувствовал, когда вчера, после положения покойного в гроб и отвоза его в церковь, граф Вальдштейн нас всех собрал и читает нам вдруг завещание, в котором уже он назначается опекуном и распорядителем состояния Ружены до ее свадьбы с его сыном, Воком; самая же помолвка, якобы по желанию покойного, должна состояться скоро.

– Да, ведь, это же наглый обман, завещание подложное, и надо их разоблачить, жаловаться!.. – вне себя вскричала Иитка.

– Жаловаться? – он горько усмехнулся, – Кому? Кто поверит обвинениям какого-нибудь бедняка, вроде меня? Всякий скажет, что это клевета! Завещание подписано самим бароном, на глазах у всех; только текст, читанный епископом, был не тот, который он писал, а как это доказать? Нет, Иитка, когда-нибудь, потом, может быть, мы и откроем ребенку всю правду, а пока приходится молчать. Меня печалит то, что здесь сейчас же начнут расхищать панское

добро, а у барона в сундуке хранятся большие деньги, да и бриллианты баронессы покойной там же; они одни составляют целое богатство.

– Нельзя ли их спрятать в какой-нибудь тайник в башне? Вальдштейн никогда здесь не был и не найдет их.

– Что ж, это мысль хорошая! Ключ-то от сундука у меня, я его припрятал, как только увидел епископа с носилками. Завтра же ночью мы все и устроим!

Обсудив все подробности этого плана, они расстались.

На следующий день, перед отъездом из замка, Гус и Иероним пожелали видеть Ружену, чтобы выразить ей свое соболезнование и проститься.

Вид девочки, бледной и осунувшейся за одну ночь, растрогал их до глубины души. Со слезами на глазах, Гус привлек к себе Ружену, поцеловал в головку, благословил и долго говорил ей, стараясь пробудить в ее бедном сердце покорность воле Всевышнего и убеждая, что она не на веки же разлучена со своим отцом, что в будущей жизни она с ним свидится, если своим благочестием и добродетелью заслужит того, чтобы отец ее, с неба, заботился о ней и был ходатаем за нее перед престолом Божиим.

Горячая вера, одушевлявшая Гуса, никогда его не покидавшая и поддерживавшая до самой смерти, благотворно подействовала на чистую, впечатлительную душу девочки. Отчаяние Ружены постепенно сменилось глубокой, но спокойной скорбью и слезами, которые облегчили ее. Доверчиво и любовно взглянула она в ясные, грустные глаза своего утешителя и, обвив ручками его шею, прошептала:

– Ты добрый, мистр Ян, я тебя люблю! Остайся со мной.

– Очень хотел бы, дитя мое, да дела призывают меня в Прагу, – Но я каждый день буду молиться за тебя и твоего отца. – Бог даст, мы скоро с тобой увидимся!

– И я тоже, как ты сказал, буду утром и вечером молиться Богу, думая об отце и смотря на небо, куда он ушел; пусть он знает, что я о нем постоянно думаю!

– Бедный, несчастный ребенок, безвинная жертва злобы и жадности людской, – грустно качая головой, заметил Гус, когда он со своим спутником очутился на большой дороге.

– Да, да! Она будет нуждаться в покровительстве. Из Ружены выйдет обаятельная женщина, а при ее большом состоянии, она сделается завидной добычей, и вокруг нее закопошатся все дурные страсти! – сочувственно вздыхая, подтвердил Иероним.

В ночь Иитка и Матиас пробрались в комнату покойного, и конюший отпер большой железный сундук, прикованный к стене. Оттуда они поспешно достали две большие, тяжелые шкатулки и несколько мешков с золотом: сундук закрыли, а вынутые вещи перенесли в так называемую библиотеку, где хранилась масса древних пергаментов и семейные документы. Часть стены, прикрытая полками, сдвигалась, при нажатии пружины, и открывала вход в довольно просторную комнату, откуда другой выход скрытно выводил в лес. Барон показал тайник своему верному Матиасу, чтобы он, в случае осады замка, мог им воспользоваться и спасти драгоценности, а также бежать с ребенком, если бы к этому представилась надобность. Сюда и запрятали преданные слуги мешки с деньгами, шкатулки с разными золотыми и ценными вещами и дорожную посуду.

– Вот здесь все останется в сохранности до совершеннолетия Ружены и бриллианты ее матери не разойдутся по карманам итальянских мошенников, – сказал довольный Матиас, – А ты, Иитка, сообщи малютке, где спрятано ее добро, на случай нашей смерти. Надо, чтобы она сама передала графу ключ от сундука; Вальдштейн не должен и подозревать, что он прошел через наши руки.

На следующий день Иитка завела разговор с Руженой о ее будущих опекунах и высказала подозрение насчет их алчности, искусно внушая девочке убеждение в необходимости скрыть часть имущества, если она не хочет, чтобы его расхитили чужие.

Ружена была не только развитее своих лет, но у нее был тот наблюдательный ум, который рано развивается у детей, одиноко растущих среди больших. Она с полуслова поняла, что опекуны ее – враги, которым доверяться не следует, и потому, не колеблясь, сказала:

– Спрячем самое драгоценное!

Тогда Иитка показала ей тайник и все, что они с Матиасом туда снесли, и затем передала ей ключ от сундука.

– Будь спокойна, – твердо сказала ей девочка, – я ничего не выдам и не отдам маминых вещей; а самый ключ вручу так, что ни малейшее подозрение не коснется Матиаса.

И миловидное личико ребенка выразило при этом столько хитрости и твердой решимости, что нянька даже растерялась.

В большой зале вальдштейновского дома, на высоком катафалке, окруженном свечами, выставлено было тело покойного барона Рабштейна, и сам Бранкассис, в сослужении с отцом Бонавентурой и отцом Иларием, правил панихиду. В это время вернулся сам граф-хозяин и был страшно поражен, найдя у себя в доме покойника и услышав неожиданные новости.

Графу перевалило за сорок; это был высокий мужчина, чисто славянского типа, красивый и изящный. По натуре беспечный и любивший хорошо пожить, он частью растратил уже свое громадное состояние, хотя разорению его немало способствовали войны и неурядицы тогдашнего смутного времени. Но сам он никогда не прибегнул бы к преступлению, чтобы выпутаться из тяжелых обстоятельств, и неожиданная смерть двоюродного брата, у него же в доме, и при том так кстати, пробудила в нем неприятные чувства.

По окончании службы, он молча, насупив брови, выслушал рассказ жены, не сводя с нее пристального взгляда.

– Надеюсь, что ты со своими попами, вечно сидящими у тебя под юбками, не пособляла смерти Светомира, ровно настолько, насколько нам это выгодно? С убийством я не желаю иметь никакого дела, понимаешь?

Бледное и злое лицо графини побелело.

– Я полагаю, что ты с ума сошел, осмеливаясь кидать такое оскорбление в лицо твоей жены! Прикажи начать розыск о смерти барона, если уж тебе так хочется позора. Тебе, вероятно, в тягость твои земли и замки, и ты предпочитаешь положение мелкопоместного пана! Кто же мешаешь отказаться от счастья, ниспосылаемого Провидением, может быть, из сострадания к твоему сыну, неповинному в нищете и стыде, которые его ожидают?

Она повернулась к нему спиной и, рассерженная, вышла, а граф опустил в кресло и задумался.

Мало-помалу врожденная беспечность взяла верх: ведь возможно же, что Светомир умер и естественной смертью, а отталкивать прямо с неба свалившееся благополучие было неразумно. Это соображение успокоило его.

Через несколько дней граф прибыл с телом в родовой замок покойного, чтобы схоронить его в семейном склепе.

Ружена встретила похоронный поезд у ворот замка, в сопровождении Иитки и всех слуг. Черное платье и шапочка с длинным вуалем еще резче оттеняли матово-бледное лицо ее и золотистые волосы. При виде гроба, Ружену охватил такой порыв отчаяния, что ее хотели увести, но это придало ей силы. Она овладела собой и, хотя заливалась слезами, но достояла до конца погребальной церемонии. Только когда двери склепа закрылись за телом ее отца, горе осилило и разразилось страшным нервным припадком.

Редкая красота девочки поразила графа, а ее отчаяние и неудержимые слезы произвели тяжелое впечатление: не то сожаление, не то угрызение совести шевельнулись в его суетном сердце. Под влиянием этих чувств он взял девочку на руки и нежно поцеловал, уверяя, что в нем она найдет второго отца. Но Ружена холодно приняла его уверения и ласки; враждебно,

недоверчиво взглянула она на него и наотрез отказалась присутствовать на поминальном обеде, уйдя с Ииткой к себе.

На следующий день вся челядь замка собралась, по приказанию графа, в большой зале, и он прочел сам завещание покойного барона, которое назначало его опекуном Ружены и поручало ему все ее состояние до замужества ее с Воком фон Вальдштейном, объявленным ее женихом. Затем граф сказал, что как только покончит с описью имущества и познакомится с делами, он увезет свою питомицу к себе в замок, где она и будет воспитываться.

В тот же день Вальдштейн энергично принялся за работу, но на первых же порах обнаружил отсутствие ключа от кованого сундука. Тщетно опрашивал он всю прислугу, которая естественно ничего не знала. В раздумье, графу пришлось в голову спросить Ружену, не знает ли она, куда девался ключ.

– Да, я знаю, где он, но отец строго запретил мне говорить это кому бы то ни было, – решительно ответила девочка.

Вальдштейну пришлось долго ее убеждать, что он заменяет ей отца и потому, для охраны ее же интересов, обязан познакомиться с документами, заключающимися в сундуке.

Ружена, наконец, сдалась, потребовав, чтобы все, даже Иитка, вышли из комнаты, и повела опекуна на половину отца, где и вынула ключ из потайного места.

Когда, дня через два, граф спросил Ружену, не известно ли ей, где хранятся драгоценности ее матери, она отозвалась полным незнанием и поддерживала свои слова так уверенно, что, в конце концов, он ей поверил. Это обстоятельство внушило Иитке и Матиасу почти благоговейное уважение к уму ребенка.

Отъезд был назначен через неделю. Вальдштейн, хотевший быть в хороших отношениях с будущей невесткой, спросил, что она желает взять с собой.

– И ты разрешишь мне все, что я попрошу? – осведомилась Ружена.

– Конечно, дитя мое, если только ты не захочешь захватить весь замок или одну из его башен, что было бы затруднительно, – засмеялся он.

– В таком случае, позволь мне оставить при себе няньку и Матиаса, для моих услуг, и еще Перуна, любимую охотничью собаку отца.

– Разрешаю тем более охотно, что и сам думал об этом же.

В назначенный день, сидя с Ииткой в носилках и с Перуном у ног, Ружена покинула замок своих предков, под охраной Матиаса, ехавшего рядом верхом. С влажными от слез глазами и серьезным не по летам лицом, прощалась она со своим родовым гнездом и, когда за поворотом дороги замок окончательно скрылся из виду, она разразилась рыданиями, спрятав свое личико на плече верной няни.

## Глава 4

Мало в Европе городов, расположенных столь удивительно, как Прага, – древняя столица Чехии, – и тот, кому случай доставлял возможность любоваться ею с высот Петра, Вышеграда или Градчан, наверно никогда не забудет этой чудной картины.

На зеленой равнине, окруженной высокими холмами и прорезанной Влтавой, раскинулся царственный город; на светлой лазури легко и красиво выделяются из прочей массы домов стройные громады церквей и башен. Есть что-то невыразимо величавое в этой дивной гармонии красивых очертаний и красок. Все светло и приветно, все дышит тем пленительным и ясным покоем, который природа разливает иногда по излюбленным ею местам, щедро оделяя их своими дарами.

И, словно в насмешку, этот-то уголок земного рая был избран судьбой театром кровавых войн, ареной вековой, непримиримой борьбы двух рас, оспаривающих друг у друга обладание Чехией. В стенах этой же самой Праги суждено было вспыхнуть светочу свободной мысли, который сиянием своим озарил мрак средних веков и нанес могуществу Рима первый, но решительный удар.

Долгие века чешский народ занимает положение авангарда всего славянского мира и, как рогатина, всажен в бок Германии, почему Чехия и была местом непрерывных вражеских натисков. С настойчивостью, свойственной тевтонскому племени, испробовали немцы, – и никогда не отчаивались в успехе, – все средства насилия и вероломства, чтобы превозмочь это препятствие или, по крайней мере, его обезвредить. Нападение началось с самым опасным оружием в руках, верой.

Чехия обращена была в христианство славянскими первоучителями, святыми Кириллом и Мефодием, во второй половине IX в. Восточное исповедание пустило столь глубокие корни в духе и сердце народа чешского, что предание этой веры отцов, хотя и слабели постепенно, но держались в течение столетий и, несмотря на все усилие пап, не исчезли даже в XIV в., когда к ним присоединилось гуситское движение. Может быть, гуситство даже возвратило бы чехов в лоно православной церкви, так как посольство от чешского народа с просьбой об этом являлось к Константину Палеологу и патриарху Геннадию. Но Мохамед II взял Константинополь в 1453 г., и сношение с Византией прекратились, а битва при Белой горе, как гром, разразилась над страной и заглушила в ней на долгое время религиозную жизнь и национальное развитие.

С X и XI вв., следом за католическими (немецкими) миссионерами, появляются немецкие поселенцы, и Чехия теряет некоторые свои передовые посты, как, например, Хебский округ (Эгер), оставшийся онемеченным до сего дня. В конце XII в. тевтонское нашествие грозит уже серьезной опасностью: всюду основываются монастыри и в них, а равно и в городах устраивается немецкое монашество и духовенство, ведя за собой тысячами крестьян, горожан и ремесленников.

Противонародная политика последних королей дома Пшемисловичей благоприветствовала этой колонизации, давая иноземцам привилегии столь обширные, что за их прикрытием создавался и окреп новый общественный класс – городской, который не признавал уже другого права, кроме германского, и сделался слепым двигателем онемечения.

Причины, заставившие Вацлава I, Отто кара II и Вацлава II даровать столь широкие права и вольности чужеземцам, заключались в стремлении возвысить королевскую власть над феодальными притязаниями аристократии – путем создания городских общин, зависевших непосредственно от государя.

Дух равноправности, присущий древнеславянскому укладу, не давал образцов для развития чуждого народному устройству феодального строя, и потому высшие классы легко прельщались бытом немецким, с его особыми привилегиями, усваивали иноземные моды, нравы,

обычай и язык, превращаясь постепенно из чешского панства в некоторое подобие немецких феодалов.

В городах же немцы захватили все должности, и чехи были исключены из общинного управления, эксплуатируемы богатым, безнравственным духовенством и даже лишены земель, несмотря на свое численное превосходство в стране.

Когда на престол Богемии восшел Генрих, герцог Хорутанский, победа германизма, казалось, была обеспечена: все города представляли собою немецкие острова в море чешской народности, и заправляла в них всем дерзкая буржуазия, не понимавшая уже чешского языка, который сходил понемногу на степень говора, предоставленного крестьянам, а в народной массе зародилось и даже громко выражалось убеждение, что короли замышляют вовсе уничтожить славян для упрочения немецкого владычества.

Но одного не приняли в расчет победители, это – народной ненависти к немцам, красной нитью проходящей через всю чешскую историю, – ненависти, которую оживляла и питала глухая ежедневная борьба, без устали и перерыва, туземного крестьянина против пришлеца, забиравшего у него землю, вольность и язык. Живой народный дух тлел под пеплом и мощно воспрянул, наконец, в ту минуту, когда этого менее всего ожидали.

Вспышка народной энергии и негодования, не доставало пока системы и сознания, что было необходимо в борьбе с громадной, стройно организованной силой германизации. Но, вот, знаменитая хроника Далимила<sup>6</sup>, воскресившая славную историю чешского народа и оживившая на борьбу силы и дух земляков, дает первый сигнал к пробуждению любви к родине.

С этой поры борьба ведется под всеми видами с возрастающей смелостью и сопровождается, на этот раз, успехом. Города наполняются природным населением, чешская речь восстановлена с честью, даже дворянство поняло грозившую опасность онемечения, и делается защитником народности и противником притязаний наводнивших Чехию чужеземцев.

Необычайная умственная работа закипела в стране, нападая и подрывая учреждение, служившие оплотом иноземного могущества; явным же предлогом к началу борьбы были церковные беспорядки и разнузданность нравов духовенства.

Как немецко-феодальный строй, так и аристократизм римско-иерархического начала в церкви был чужд свободолюбивой Чехии, помнившей народные основы восточного исповедания, которое давало письменность на родном языке, а следовательно, возможность чисто национального развития. Римская же церковь, всегда чужая подвластным ей народам, своим гнетом убивала в них самостоятельную духовную жизнь.

Вырастает целый ряд выдающихся, даровитых людей и горячих патриотов, хотя подчас и не сознававших значения разыгрываемой ими громадной политической роли, но, тем не менее, посвятивших себя работе над церковными преобразованиями, которые неизбежно должны были привести к Гусу и гуситским войнам, освободившим Чехию от иноземного ига.

Первый, кто решился открыто напасть на могущество Рима, был, между тем, немец Конрад Вальдгаузер. Проповедовал он против нищенствующих монахов, пороков духовенства и общества, но проповедовал на немецком языке.

Преемником и продолжателем его дела был Милич из Кромержа (Кремзир), говоривший уже проповеди по-чешски и этим пробудивший в народе внимание к беспорядкам в церкви, терзаемой спорами двух пап (одного в Авиньоне, а другого в Риме), которые объявили притязание на христианский мир и перестреливались друг с другом отлучениями и молниеносными буллами.

За Миличем следует Матвей из Янова. С неведомой дотоле смелостью обрушился он на верхи католицизма, – пап, кардиналов и епископов, – как источник всех безобразий и злоупо-

---

<sup>6</sup> Известный чешский патриот времен короля Яна Люксембургского (XIV в.), написавший историю Чехии рифмованными стихами.

треблений. Главой церкви, посредником между Богом и людьми он признавал только Христа, как единственное руководство веры – священное писание, как правило жизни – бедность и нестяжательность древнехристианской общины. Существенные идеи протестантизма, основы реформы были, таким образом, даны.

Последним работником, расчищавшим дорогу Гусу, был рыцарь Фома Штитный, который перенес вопрос на почву научно-богословскую и своими писаниями, замечательными столь же по силе мысли, сколько и по слогу, сумел внушить всему народу интерес к этим отвлеченным вопросам.

И вот, мы на пороге той революции, которой через сто лет, суждено было окончиться разрушением единства католицизма. Долгое зачатие реформы было закончено, все средневековые учреждения подрыты в самом основании, – оставалось присоединить к вопросам богословским вопрос национальный и начать войну.

Таковы были, в общих чертах, умственное движение и борьба чешского народа; посмотрим же, каковы были внешние политические события.

В 1378 г., по смерти чешского короля и императора Карла IV, самого замечательного и славного государя из Люксембургской династии, трон Богемии и императорская корона достались сыну его, Вацлаву IV.

История и особенно немцы, не прощающие ему его склонности к чехам и оказанной им поддержки, строго осудили этого государя; а между тем он был воодушевлен наилучшими стремлениями и задачей своей жизни считал несомненно счастье вверенной ему страны<sup>7</sup>, любил правду, был общедоступен и даже сам ходил в народ, чтобы слушать, что говорилось, проверять купцов и наказывать злоупотребления.

Он был очень образован по своему времени: говорил и свободно писал как на своем чешском, так и на немецком языках, изучал латинский язык и был сведущ в вопросах права<sup>8</sup>.

Будь Вацлав в иных условиях, из него вышел бы прекрасный государь, но борьба, которая выпала ему на долю, превышала его силы.

Национальные и религиозные распри разрывали королевство, его племянники и братья, особенно Сигизмунд, были его врагами и жаждали лишить его власти. Измученный, приведенный в уныние, Вацлав предался пьянству и всевозможным излишествам.

Однажды, в 1393 г., он был даже арестован возмущившимися дворянами; затем ему возвратили свободу, но не мир. Интриги его брата и неудовольствие высоких баронов продолжали волновать страну, и к этой неурядице примешалась борьба с новым римским императором, Рупрехтом Палатином, избранным в 1400 г., на место Вацлава.

Для Гуса и Иеронима эти дела были животрепещущими и служили неистощимой темой для беседы во время их долгого пути из Пльзени в Прагу. Пробыв более двух лет в отсутствии, Иероним накопил изрядный запас вопросов, ввиду того, что переписка, в те времена, была затруднительна и местные новости попадали в другую страну лишь случайно. Так разговор не прекращался, и они оканчивали обсуждение перемен, происшедших среди профессоров и студентов университета, когда лошади их остановились перед городскими воротами.

Гус жил тогда в Новом Городе и, хотя у Иеронима была постоянная квартира у его родственницы, в Малой стране (городе), они решили, что эту первую ночь проведут вместе.

Теперь, когда они проезжали по улицам, разговор прерывался ежеминутно; Гус то отвечал на глубокие поклоны, то перебрасывался дружескими приветствиями с прохожими, принадлежавшими к самым разнообразным классам населения.

---

<sup>7</sup> Надлер. Причины и первые проявления оппозиции католицизму в Чехии и Западной Европе, 123.

<sup>8</sup> Там же, стр. 120.

– Я с удовольствием вижу, что ты стал очень популярен, мистр Ян, и что бароны и рыцари столь же радушно встречают тебя, как и ремесленники и даже простой народ, – с улыбкой заметил Иероним.

– Да, правда, меня балуют расположением и любовью совсем не по заслугам. Проповедуя постоянно слово Божие, я исполняю лишь свой долг и весьма естественно, что я люблю наш бедный народ, обиженный, придавленный и ненавидимый иноземцами! Я никогда не забываю, что я сын крестьянина и ниспосланным мне знанием должен делиться с братьями, ищущими, в наше смутное время, света и истины. Смотри, вон идут наши друзья, которым ты тоже обрадуешься, Стефан Палеч и Якубек!

Те, на кого указал Гус, очевидно, заметили прибывших, и шли к ним навстречу.

Палеч был человек средних лет, по виду спокойный и уравновешенный. Резкие черты его лица были мало приятны: что-то жестокое и фанатическое светилось в его глазах. Спутник его, Якубек из Стрибра, представлял полную ему противоположность: маленький, живой, он был, по видимому, человек дела, страстный энтузиаст, склонный к увлечениям.

Покуда Палеч дружески здоровался с Гусом, Якубек по-приятельски тряс руку Иеронима.

– Наконец-то ты вернулся, нагруженный иностранной наукой и всякими политическими и иными новостями, которые обычной дорогой еще не скоро дойдут до нас, – радостно сказал он.

– Ну, что касается новостей, их и у вас не оберешься. Хотя, отчасти, ты угадал, у меня есть кое-что интересное для тебя и уважаемого мистра Палеча: два еще неизвестных вам труда Виклефа.

– Философских? – осведомился тот.

– Нет, богословских: „Dialogus et trialogus” очень любопытные!

– Еще надо доказать, настолько ли они полезны, насколько интересны, – кисло заметил Палеч. – Религиозные убеждения Виклефа были осуждены духовными авторитетами, и на этой зыбкой почве христианину следует быть крайне осторожным.

– Разумеется! Да вы сами рассудите, когда прочтете трактаты. Через несколько дней я устроюсь на моей прежней квартире и надеюсь, что вы сделаете мне честь посетить меня.

– Принимаю приглашение с удовольствием, – улыбаясь, ответил Палеч, – а теперь, пойдем дальше, Якубек! Пан Змирзлик, вероятно, ждет уже нас к ужину, да и путникам следует хорошенько отдохнуть.

– Так до свиданья! Передайте мой поклон Змирзлику и его уважаемой супруге, – закончил Гус, прощаясь.

Несколько дней спустя, в большой, прекрасной комнате, которую занимал Иероним, собрались его друзья. Они сидели у окна, за столом, на котором разбросаны были листы рукописи.

Разгоревшиеся лица указывали, что шел оживленный спор с тою страстностью, которая характеризовала вообще религиозные прения того времени, происходившие всегда, более или менее, на почве национальных вопросов.

Говорил Палеч, обращаясь к Иерониму, выкрикивая слова и размахивая своими большими и длинными, худыми руками.

– Все, что ты прочел нам из триалога Виклефа, только подтверждает мое первое мнение. В творениях его есть много и хорошего, намерения его чисты, но смелость заводит его слишком далеко. Затрагивать, как он, все церковные установления, осуждать всякую епископскую иерархию, дерзнуть сказать, что вся история христианского общества заключается в борьбе царства антихриста с царством Христовым, отрицать право престола апостольского связывать и разрешать и, наконец, желать подчинить его светской власти это, это... уже переходит в ересь!

– Постой, постой, – перебил его возбужденный Якубек. – Государство-то ведь тоже существует, по праву Божественному, и Господь наш Иисус Христос, словами: „отдавайте кесарево кесарю”, указал ему место; поддержание же порядка, как среди клира, так и среди мирян, – неоспоримое право верховной светской власти, которой церковь должна быть подчинена, и папы, утверждая независимость от государства духовенства и его имуществ, создают неисчерпаемый источник для злоупотреблений и смут. Я вполне согласен с Виклефом, когда он говорит, что власть связывать и разрешать присуща одному только Богу и что, присваивая ее себе из жадности к властолюбию, папство совершает святотатство и сеет в мире искушение и неправду. Разве не это породило отлучения, которыми так злоупотребляют папы?..

– Ну, уж, мистр Якубек! Когда ты увлекаешься, то несешься, как лошадь без узды, – вмешался третий собеседник, молчавший до того. – Согласись, что злоупотребления не делают еще дурной вещь, саму по себе хорошую; злоупотреблять можно всем, такова слабость человеческая. Но, по началу, церковь нуждается в наказаниях, как и государство! Отлучение – кара духовная, равно как виселица и костер – наказания мирские. Те и другие имеют одинаковые права на существование!

– Да, мистр Илья, но только никто не вешает и не сжигает людей за то, что они не вовремя чихнули или слишком плотно пообедали; а отлучения зачастую имеют предлогом какие-нибудь бочки с пивом<sup>9</sup>, не то иную какую обиду, нанесенную личности или кошельку священника, – рассмеялся Иероним.

– Случай, который ты вспомнил, подтверждает лишь слова Виклефа, что земные блага составляют горе и погибель церкви, – заметил Гус. – Господь запретил апостолам своим стяжание, но Его Божественные слова звучат насмешкой с тех пор, как император Константин, триста лет спустя, подарил папе царство. В тот день был слышен голос сверху: „отраву влили в церковь Божию”. Богатством вся христианская церковь была соvrащена. Откуда пошли войны, отлучение и всякие ссоры между папами, епископами и прочими членами клира? Псы дерутся из-за кости; уберите ее, – и восстановится мир. Откуда взялась симония и алчность духовенства? Все проистекает из той же отравы – богатства!<sup>10</sup>

– Так ты хочешь сказать, что церковные имущества – излишни, и пожертвование, делаемые верующими во славу Божию и во спасение души, – заблуждение? – резко спросил Палеч.

– Да, я глубоко убежден, что человек плачевно заблуждается, воображая, что созидая церкви, он легче заслужит прощение у Господа. По моему, лучше при жизни подавать лепту неимущим, чем после смерти наделять духовенство и устраивать себе золотую лестницу на небо. Лучше кротко снести поношение и простить врагу, чем бичевать себя и ломать о собственную спину целые леса розг<sup>11</sup>, – горячо ответил Гус.

Он тоже воодушевился, и глаза его, обыкновенно спокойные и кроткие, блестели негодованием.

– Поверь мне, Палеч, – продолжал он, – что, только возвратив церковь в ее первобытную бедность, мы вернем ей чистоту и сделаем ее безгрешной невестой Христовой.

– Я хорошо тебя понял, Ян, и в общем, с тобою согласен, но, тем не менее, критика установлений, созданных по внушению Духа Святого, освященных преданиями и одобренных отцами церкви, – дело опасное, – заметил Станислав из Знойма. – Я могу лишь посоветовать вам, друзья, Ян и Иероним, и тебе, пылкий Якубек, быть осторожными и осмотрительно заниматься изучением Виклефа. Ведь недаром же лондонский собор и архиепископ кентерберийский осудили, как еретические, 24 положения, выбранные из его сочинений, да и всякий доб-

---

<sup>9</sup> Случай в Бреславле в 1381 г. – Grunhagen. «Konig Wenzel und der Pfaffenkrieg in Breslau».

<sup>10</sup> Sebrane spisy. II, 305, III, 147.

<sup>11</sup> Там же.

рый католик будет того же мнение, прочитав трактаты Виклефа о причастии, предопределении, Богородице и святых. Я не могу поверить, чтобы ты, мистр Ян, одобрял такие вещи!

– Видит Бог, – и Гус набожно перекрестился, – что я не одобряю ничего подобного и сожалею, что столь возвышенный ум, как этот английский богослов, увлекся настолько, что мог высказать столь печальные заблуждения. Я же всегда останусь покорным, смиренным сыном католической церкви. Но меня влечет к нему та слава, которой он пользуется у доброго духовенства, в университете оксфордском и у народа вообще, а не у злых, корыстолюбивых, пышных и развратных прелатов. Меня влечет любовь его к закону Христову, к которому он всеми силами старается обратить людей. Но, что прежде всего возбудило мое внимание к Виклефу, это – что учение его во многом совпадает с учением Матвея из Янова, нашего славного проповедника, который, подобно Виклефу, единым, истинным главою церкви признает Иисуса Христа, а священное писание непогрешимым руководством для человечества. Церковь же, утратив дух евангельский, погрязла в путанице людских измышлений, мертвых форм, папских декреталий и формул канонического права, в которых растеряется любой богослов, а уж простой мирянин так и вовсе ничего не поймет. Матвей и Виклеф оба согласны, что для того, чтобы оживить веру и привести церковь к единству и миру, надо вернуться к светлой простоте слова Божия и живому духу священного писания и проповедовать всюду и непрерывно на языке, всем понятном. Так вот это-то сходство мнений с уважаемым Матвеем и привлекло, повторяю, меня к английскому философу.

– О, раз дело идет о Матвее, я совершенно с тобой согласен, – восторженно сказал Станислав. – Мы, по праву, можем гордиться Матвеем и его учителем Миличем, – доблестными борцами не только за веру Христову, но и за права нашего народа.

– Именно борцов за истинную церковь против немецкой, и ее недостойных представителей, и за вольности народа чешского против притязаний чужеземцев! А так как все мы пришли к соглашению, то я прошу вас, дорогие друзья, оставив на время прения, подкрепиться кубком вина и куском дичины, – весело заметил Иероним, вставая.

Все последовали его примеру и сгруппировались посреди комнаты, вокруг стола, на котором стояли кувшин с вином, пирог, холодная дичь и ветчина.

За едой разговор шел с не меньшим оживлением, хотя сменил тему и вертелся на университетской жизни и массе происшествий, случившихся за время пребывания Иеронима за границей и ему неизвестных.

В это смутное время политических и церковных несогласий, пражский университет играл первенствующую роль. Основанный отцом Вацлава, императором Карлом IV, по образцу парижского, богато одаренный и обеспеченный широкими привилегиями, пражский университет быстро расцвел и насчитывал в своих стенах, в период 1372–1389 г., до 12 тыс. учащихся и учащихся. Но под этим спокойным и блестящим наружным видом таилось начало несогласий и той народной ненависти, которая в эту эпоху бродила во всей Чехии и находила себе обильную пищу в самых университетских установлениях.

Как и его парижский прототип, пражская *alma mater* разделялась на народности: саксонскую, баварскую, польскую и чешскую. По-видимому, такое деление предоставляло, при университетских выборах, два голоса немцам и два славянам; на деле же польская фракция была *славянской* лишь по имени, так как к ней причислялись несколько немецких провинций, и потому преобладание было на стороне немцев, имевших три голоса против одного чешского.

Подобное положение вещей слишком задевало самолюбие и интересы народа, чтобы быть терпимым, и в 1384 г. возникли крупные беспорядки. Чехи протестовали против захвата немцами всех профессорских кафедр и должностей ректоров и деканов, против несправедливого предоставления иноземцам всех пребенд и выгодных мест, дававших лучшие доходы и большее влияние на народ.

Явное несогласие вспыхнуло по поводу выборов в одну из богатейших коллегий, а именно коллегия Карла, исключительного обладания которой немцами чехи не хотели терпеть. Из университета спор охватил всю Прагу; произошли кровавые схватки, а ректор Конрад Солтау (немец) был схвачен и избит без милосердия толпой чешской молодежи в масках. Когда же он отдал приказ приостановить чтение лекций и экзамены, надеясь этой чрезвычайной мерой побудить противников к уступкам, чешские студенты собрались в университет, хорошо вооруженные, а их магистры и бакалавры продолжали с ними занятия. Король и архиепископ пражский, Ян из Иенштейна, приняли сторону чехов, а последний объявил свое решение, по которому все места в коллегии Карла должны были впредь занимать чехами. Немцы пробовали сопротивляться, но потом примирились на компромиссе; однако, этот мир был только наружным, и вражда продолжалась, то скрытая, то явная.

Эти-то происшествия, иллюстрировавшие вечно живую борьбу народа за свое существование, и пересказывали Иерониму собравшиеся у него в тот день приятели. Главным оратором был пылкий Якубек и, со свойственным ему остроумием, описывал случившееся в прошлом году столкновение, вызванное происками немецких профессоров коллегии „*Всех святых*”, пытавшихся помешать чеху занять освободившуюся вакансию.

– Ты понимаешь, как все были взбешены успехом этой интриги. Особенно злились на мистра Гюбнера, бывшего душой этого дела. Эта напыщенная немецкая собака готова каждого чеха загрызть; так его успех вылезал наружу, как пена из пивной кружки, и он открыто насмеялся над нашей неудачей. Стефан из Колина ответил ему с Вифлеемской Кафедры, да так красноречиво, что его проповедь взволновала народ. Против немцев вспыхнуло неудовольствие, а вечером, возвращаясь домой, Гюбнер был ранен в голову неизвестно кем пущенным камнем, но отделался только царапиной...

– А жаль!.. – заметил Иероним.

– Разумеется, жаль! Хотя это не помешало ему, поправившись, в собрании немецких народностей, держать зажигательную речь против Вифлеемской часовни и преступной дерзости проповедовать на „чешском, варварском наречии, годном лишь для черни и унижающем достоинства церкви”, но которым нечестивое духовенство пользуется с целью сеять смуты и возбуждать страсти. Следствием его слов было то, что в следующее воскресенье толпа горожан, под предводительством богатого мясника Кунца Лейнхардта, собралась у часовни, стала поносить входивших туда верующих и пыталась сама пробраться внутрь, – понятно, для того, чтобы произвести беспорядок. Оттиснутые силой, немцы затеяли драку, плачевно для них кончившуюся, так как численность была на нашей стороне; да кроме того, тут же в дело вмешалась городская стража. Однако были убитые и раненые; в том числе несколько женщин, не успевших спастись из свалки, были затоптаны. Обе стороны разошлись, затаив друг против друга злобу; а вечером, когда Гюбнер направлялся домой с братом своим, Лютцом, и двумя друзьями, на них напала толпа замаскированных людей и высекла их жестоко; Лютцу Гюбнеру нанесен был удар ножом в бок, от которого он и умер, несколько дней спустя. После этого вся гюбнеровская шайка отправилась жаловаться королю, пребывавшему в то время на Кутной горе, да попала под сердитую руку... Ха-ха-ха! – и Якубек залился смехом. – Вацлав тогда только что получил известие о том, что имперские чины лишили его императорского сана за то именно, что он не помогал водворению мира в церкви и умалил значение империи, не соблюдал земского мира и совершил много жестоких, насильственных злодеяний. А между тем, народ все-таки значительно облегчен от податей, и теперь, право, можно безопасно пройти с мешком денег на голове от одного конца Чехии до другого. Ну, словом, король был в такой ярости за избрание на его место Рупрехта Пфальцского, что при одном слове „*немец*” с ним делались колики. Можешь себе представить, как милостиво он принял депутацию. Племянник пана Змирзлика присутствовал при приеме и рассказывал, что король трясся от гнева, и не пожелал даже выслушать жалобщиков, а закричал, что ему надоели возмущение и наглые требования немцев, и что если

они еще раз посмеют ссориться с его верноподданными чехами, вызывать волнение и вмешиваться в то, что делается в Вифлеемской часовне и на каком языке там проповедуют, так он им преподнесет такое же угощение, как Яну из Помук с товарищами, и, чтоб охладить их пыл, попотчует купаньем в Влтаве. Депутаты вернулись испуганные и, с тех пор, присмирели; но делают вид, что держат сторону Рупрехта.

Взрыв смеха сопровождал слова Якубка.

– Да, наша Вифлеемская часовня им, как бельмо на глазу, – заметил Гус, – а для нашего народа – это источник света, веры и силы.

– Благословенны будут те, кто открыл ему этот источник! Честь, здоровье и долгие дни великодушным патриотам: рыцарю Ганушу из Мюльгейма и купцу Крыжу, – провозгласил Иероним, поднимая кубок.

– Да здравствует Чехия и ее вольности! – вторили ему прочие, осушая чаши.

## Глава 5

Было около семи часов вечера, и в замке Вальдштейн готовились сесть за ужин. В большой обеденной зале, отделанной темной дубовой резьбой, накрыт был стол, уставленный богатой посудой и венецианским хрусталем; графиня, епископ Бранкассис и отец Бонавентура вошли и сели за стол, а стоявшие позади пажи стали им служить.

Графиня была, видимо, чем-то недовольна, расстроена и поминутно взглядывала то на входную дверь, то на пустой прибор перед ее местом.

– Я не понимаю отсутствие Вока! Он должен был вернуться с полчаса тому назад, и это nepозволительное невнимание с его стороны, – сказала она сердитым тоном.

– Не стоит сердиться, дорогая кузина, – с улыбкой успокаивал ее епископ. – Ваш сын запоздал, вероятно, на охоте или у кого-нибудь из приятелей. Легкомыслие, свойственное его возрасту, но отнюдь не невнимание к вам, причина его отсутствия. Ведь и отца Илария тоже нет; он болен?

– Нет! Отец Иларий поехал навестить больного и задержался, должно быть, в дороге, – объяснил Бонавентура.

В эту минуту в соседней комнате слышались шаги, и на пороге показался шестнадцатилетний юноша, при виде которого лицо графини сразу прояснилось.

Молодой граф Вальдштейн был очень красивый малый: высокий, гораздо старше своих лет, стройный и хорошо сложенный. Слегка загорелое лицо его дышало смелостью, даже дерзостью; в больших черных, унаследованных от матери глазах, светилась гордая, страстная душа.

Подойдя к матери, он поцеловал у нее руку, извинился за опоздание и затем холодно-вежливо поклонился епископу.

Судя по тому, с какой любовью и гордостью графиня следила за каждым его движением, видно было, что она обожала сына. Юноша сел и принялся за еду, но вдруг, окинув взглядом стол, нахмурил брови.

– А где же Светомир? – осведомился он.

– Где же быть этому глупому обжоре, как не на покаянии, – презрительно ответила графиня и, обращаясь к Бранкассису, прибавила: – Сколько этот негодный мальчишка причиняет мне огорчений, не могу выразить! Для отца Илария тоже чистое наказание учить его латыни и наукам; он так ленив, что даже псалмы не хочет знать наизусть!

– Какое же преступление совершил он сегодня?

– Отец Иларий поймал его, когда он ел ветчину! Это в постный-то день, а он еще солгал, сказав, что ее дала ему жена управляющего.

– Да, я понимаю, что Светомир *очень* виноват! А где же сам достойный отец? Отчитывает преступника и угощает его, вместо ужина, наставлениями, сам служа ему примером воздержания и поста? – насмешливо спросил Вок.

Графиня вспыхнула.

– Вок! – недовольным тоном сказала она. – Опять ты позволяешь себе неуместные шутки и забываешь, в обществе кого ты находишься! Ты обязан уважать моего духовника! Знай, что добрый отец Иларий поехал навестить больного.

Вок ничего не ответил и только ядовито усмехнулся, а Бранкассис, пристально наблюдавший за ним, постарался предупредить грозу и заговорил о полученном утром известии, возвещавшем на послезавтра прибытие графа с Руженой. Разговор перешел на покойного барона Рабштейна и ту роль, которую он играл в союзе панском, вместе с Розенбергом, Градецким, Ландштейном и другими. Наконец, все встали из-за стола.

Пропустив вперед мать и епископа, Вок остановился у двери, знаком подозвал к себе одного из пажей и что-то шепнул ему на ухо. Паж кивнул головой в знак того, что понял и побежал исполнять приказание.

Несколько минут спустя, он вернулся с корзиной в руках и принялся накладывать в нее со стоявших блюд: рыбу, жаркое, пирожки и фрукты.

– Богумил! Негодный мальчишка! Как ты смеешь красть со стола? Сейчас же положи все обратно, не то я тебе уши оборву, – гневно крикнул на него дворецкий и схватил его за шиворот.

Но мальчик, как угорь, выскользнул у него из рук.

– Граф Вок приказал принести к нему в комнату корм собакам. Подите сами, да спросите у него, – вызывающе ответил ему мальчуган и затем исчез в дверях, прихватив еще по дороге с буфета и кусок сыру.

– Вот нелепость – кормить собак жареной щукой, пирожками и фруктами, – сердито ворчал дворецкий, рассчитывавший полакомиться сам.

Сославшись на усталость после долгой езды верхом, Вок простился с матерью и прелатом и ушел к себе.

Две его комнаты обставлены были со всей роскошью того времени. Стало уже почти темно, так как в узкие, пробитые в толстой стене окна проходило мало света, и слуга зажег восковые свечи в медных шандалах.

Маленький Богумил накрыл в это время стол и расставлял принесенную провизию. Вок дал ему в награду пирожок и отослал, запретив беспокоить себя без зова.

Подумав немного, он повернулся и вышел в коридор, в конце которого была запертая дверь. Тщетно пытался Вок ее открыть; наконец, стукнув в нее кулаком, он крикнул:

– Светомир, глупый! Что ты, спишь или подох с голоду? Отвечай!

– Я с утра заперт, Вок, и не могу ни выйти, ни отворить тебе, – отвечал изнутри слабый детский голосок, в котором слышны были слезы.

Жалость и презрение мелькнули на выразительном лице молодого Вальдштейна.

– Ну, так жди меня и открой только окно, я за тобой приду, – ответил он и пустился обратно по коридору.

По винтовой лестнице он сбегал в сад, расстилавшийся у подножия замка, и подошел к башне, наверху которой, у отворенного окна, в наступившем сумраке виднелась неясная детская фигурка.

– Я здесь, Вок! Да как же мне спуститься с такой высоты? – тоскливо прозвучал голосок.

– Ну, вот! Разве это высота? Будь я на твоём месте, я давно уж был бы на свободе, хотя бы только для того, чтобы натянуть нос стриженому дьяволу, который тебя тиранит! А ты мокрая курица! Смотри, я покажу тебе дорогу.

Густой плющ окутывал башню своей темной зеленью; его могучими ветвями и воспользовался Вок, смело, ловко и проворно вскарабкавшись к окну, которое и на самом деле было не особенно высоко.

Очутился он в круглой комнате; голые стены и бедная обстановка составляли прямую противоположность роскоши и комфорту его апартаментов. Дрожащий свет лампы перед образом озарял простую кровать, стол, несколько деревянных скамеек и налой в углу. На столе, рядом с грудой книг, стояла кружка с водой и валялись корки хлеба.

– Вот и я! А спускаться не труднее, чем подниматься, – рассмеялся довольный Вок. – Предпочитаешь ты остаться здесь и ожидать возвращения бравого Илария или идти в мою комнату, хорошо поужинать и получить подарок? Выбирай!

– Разумеется, я предпочитаю идти ужинать! Мне так хочется есть; я не знаю только, сумею ли я спуститься, как ты.

– Ба! Необходимость родит героев! Полезай смело, я тебя высажу из окна. Вон там большая ветка, она вроде ступеньки. Держись руками и не выпускай, пока не будешь стоять крепко.

Он помог Светомиру вылезти и поддерживал его, покуда тот не сказал, что держится твердо.

– Смелей и не бойся! В тебе и весу-то не больше, чем в голодной кошке. А я выберусь потом, чтобы не оборвать плюща.

Спуск прошел благополучно и через пять минут они уже были в комнате Вока, который сейчас же запер дверь.

– Ешь и подкрепляй свои силы, – сказал он, указывая на накрытый стол. – После священного поста у отца Илария, ты нехорошо выглядишь.

– Спасибо, Вок! Во всем доме ты один добрый и сжалился надо мной, – ответил наголодавшийся мальчик, усаживаясь за стол и принимаясь уписывать за обе щеки приготовленный ужин.

Теперь, в освещенной комнате, можно было разглядеть Светомира. Это был худенький мальчуган, лет тринадцати, с длинными, густыми, белокурыми и вьющимися волосами и большими, ясными, серовато-зелеными глазками. Его тонкое, миловидное личико было прозрачно, точно восковое; на бледных губах блуждала грустная, горькая, робкая улыбка. Но и старое, изношенное платье, чересчур для него широкое, не могло сгладить врожденного изящества и грации его женственно-кроткого облика.

Когда, наконец, пирог был съеден до последней крошки, а за пирогом исчез и кусок сыру, Светомир побежал вымыть себе лицо и руки и уселся рядом с Воком, все время молча смотревшим на него.

– Ах, как я хорошо поел, – сказал он довольный и со вздохом, – и как я благодарен тебе, Вок, за твою доброту ко мне.

– Бедный глупыш! – сочувственно сказал тот, нежно глядя его по кудрявой головке – Чего же ты молчишь перед этим негодяем, который тебя так мучает?

– Ну, как же ты хочешь, чтобы я ему сопротивлялся, когда он сильнее меня, а тетя всегда на его стороне? Вот четыре дня, как он вернулся, а меня уже три раза побил, и я еще ни разу ни обедал, ни ужинал, под тем предлогом, что будущий священник должен привыкать к посту и умерщвлению плоти, а не набивать себе живот. Сегодня еще, из-за несчастного куска ветчины, что дала мне добрая Мартина, он отхлестал меня до крови и решил оставить взаперти неделю на хлебе и воде.

Мальчик умолк; слезы подступили ему к горлу.

– Мерзавец! – сквозь зубы проворчал Вок.

– Да, злой человек, – и я ненавижу его, как и всех попов! Я лучше утоплюсь, а не надену рясы, – энергично сверкая глазами из-под длинных ресниц, произнес Светомир, сжимая кулаки.

– Наконец-то! Вот когда ты мне нравишься, а в награду я дам тебе обещанный подарок.

Молодой граф вытащил из-под камзола свиток пергамента и развернул его на столе.

– Смотри, Светомир. Вот тебе индульгенция на все телесные грехи, настоящим образом подписанная архиепископом пражским; имени владельца еще нет, и я сейчас же впишу: Светомир Крыжанов. Уж после этого ты можешь есть ветчину под самым носом Илария, и он ничего не посмеет тебе сказать. Если даже, в сердцах, ты его оплеухой угостишь, то и тогда врата неба открыты для тебя, – смеялся Вок.

Светомир побежал в соседнюю комнату и принес оттуда перо и чернильницу.

– Откуда же ты достал такую драгоценность? – радостно расспрашивал он Вока, пока тот писал на пергаменте.

– А я купил его у нищенствующего монаха, который пьяный шатался на большой дороге и, должно быть, где-нибудь украл ее, потому что продал мне дешево, за один золотой. Но от

этого документ, как ключ в рай, ничего ровно не теряет. А вон, кажется, отец Иларий вернулся со своей благотворительной поездки.

В коридоре, на самом деле, раздались тяжелые, но быстрые шаги. Светомир вздрогнул и побледнел.

– Что он теперь скажет, как не найдет меня в комнате? – со страхом прошептал он упавшим голосом.

– А это мы увидим! Я объясню с ним здесь и обуздаю его рвение обращать тебя в святы, – сказал Вок, распахивая настежь дверь в коридор, в глубине которого показался красный от гнева Иларий.

– Если вы ищете Светомира, преподобный отец, то он здесь, у меня! – крикнул ему Вок, жестом приглашая его войти.

– Как, вы укрываете его у себя? погоди, негодный, об этой шалости мы с тобой потом поговорим, – с грозным видом обратился он к помертвевшему от страха и прижавшемуся к столу мальчугану.

– Простите, преподобный отец, но я хочу, чтобы вы объяснились с Светомиром сейчас же и при мне, тем более, что я сам ходил за ним и привел его сюда. Постыдились бы вы так бесчеловечно обращаться с ребенком, за которого некому заступиться.

Краска гнева залила круглое и толстое лицо Илария.

– Как вы смеете, дерзкий мальчик, читать мне наставления! Я пожалуюсь матушке на вашу непочтительность; а этого негодяя, который мне поручен, я по-своему выморю воздержанием и постом и сделаю из него достойного служителя алтаря, – гневно прошипел он.

Вок побледнел и, схватившись за рукоять кинжала, с угрожающим видом шагнул к монаху.

– В таком случае, прежде, чем делать достойного служителя церкви из Светомира, начните с самого себя и не издевайтесь над ребенком, приучая его ко лжи и притворству. Да будет вам известно, достойнейший Иларий Шварц, что я знаю цель ваших благочестивых поездок: больной, которого вы навещаете, – никто иной, как дочь угольщика Михаила, которую вы соблазнили еще весной, а теперь заставляете ее с отцом молчать под страхом потери места. Если я расскажу это моему отцу, то вам будет много неприятностей; он не любит, чтобы духовники матушки так весело забавлялись на его землях. Довольствуйтесь вашим благодетельным влиянием на графиню, которая настолько слепа, что не видит ваших доблестей, и воздержитесь от дурного обращения с Светомиром, у которого, к тому же, есть индульгенция, освобождающая его от необходимости соблюдать посты, – насмешливо закончил Вок, указывая на разложенный на столе пергамент.

Но монах не бросил на него и взгляда. Задыхаясь от гнева, он, не говоря ни слова, повернулся и выбежал из комнаты, шумно хлопнув дверью.

– Проклятый! Ты мне это еще попомнишь, – сквозь зубы шипел он, как ураган проносясь по коридору.

Молодого графа бессильный гнев духовника матери привел в веселое настроение. Со смехом упал он в кресло, и только когда первый приступ хохота прошел, он обратился к Светомиру, по-прежнему хмуро стоявшему у стола.

– Не бойся! За сегодняшний наш разговор расплачиваться тебе не придется. А если он посмеет тебя бить, пожалуйся мне, – уж я сумею надеть намордник на эту немецкую собаку. На сегодня я уложу тебя в своей комнате. Пускай лучше гнев этого молодца пройдет, прежде чем вы свидитесь.

Покуда слуга, по приказанию молодого графа, стлал постель Светомиру, Вок поднялся по винтовой лестнице в верхний этаж той башни, где жил маленький Крыжанов. Здесь обстановка была тоже самая простая, и лишь изобилие мечей, кинжалов, пик, кистеней, арбалетов и разного другого оружие придавал комнате воинственный вид.

У стола сидел человек богатырского телосложения, и при свете масляной лампы читал Евангелие. Человек этот был Антон Брода, – учитель ратного искусства в замке, пользовавшийся у старого графа и особенно у Вока отменным уважением, так как, в свое время, он был пестуном мальчика и обучал его воинскому делу.

При входе молодого Вальдштейна, он встал; но тот сделал ему знак сесть и, пододвинув скамью, поместился с ним рядом.

– Ах, Брода! – весело заговорил юноша. – Я расскажу тебе, что у меня вышло с Иларием. Он чуть не лопнул со злости, когда узнал, что мне известна его история с дочерью старого Михаила. Уж сыграл ты с ним штуку, рассказав мне про его похождения.

И он передал разговор свой с Светомиром, покупку индальгенции и столкновение с монахом.

– Видишь, Антон! Я сдержал слово и взял Светомира под свое покровительство, – с довольным видом закончил юноша.

– Бог наградит тебя, пан граф, за доброе дело! А я не мог выносить рыданий и криков несчастного ребенка, когда этот немецкий пес истязал его. И такой-то негодяй, бесстыдный развратник, смеет ещё носить сан священнический!

– Теперь он у меня в руках! Но я должен напомнить тебе, Брода, что я-то свое обещание исполнил, а ты своего еще нет и не сводил меня на ваши тайные сходки, о которых говорил. А мне так хочется побывать на них.

Брода облокотился на стол и задумался.

– Я все не решался, потому что не знал, одобрит ли твой отец, если я повезу тебя, пан Вок, на наши сходбища. Но уж раз ты этого непременно желаешь, изволь! Что ж, это, ведь, не преступление – собираться, как мы, чтобы помолиться, как молились наши отцы, и поговорить о бедствиях родины, на которую ни один чех не может смотреть без того, чтобы его сердце не обливалось кровью. Итак, едем в будущую субботу. Я знаю, ты меня не выдашь...

– Клянусь Христом!

– Верю, верю, пан! Потерпи, и без того эти дни тебе нельзя будет выходить по случаю приезда твоего отца.

Потолковав еще некоторое время, граф вернулся к себе, а Антон продолжал чтение Евангелия.

Удивительный человек был этот Брода, – мрачный, суровый на вид и не общительный. Вся челядь в замке, хотя и побаивалась, но любила и уважала его за справедливость и бескорыстие и еще за то, что громадным влиянием своим на молодого графа он пользовался, чтобы выручать людей из беды или спасать от гнева покровительствуемого графиней немца-управляющего.

Жизнь его была бурная и полная приключений.

В те тяжелые времена трудно жилось семье его отца, небогатого пана, имевшего маленькое поместье в окрестностях Кладрубского монастыря.

Нерадивость пана Николая, с присными, в отправлении религиозных обязанностей, навлекла на семью подозрение в принадлежности к древнему исповеданию, признанному в стране еретическим, и тайном причащении под обоими видами. Эти негласные обвинения вызвали нерасположение настоятеля, и ни для кого не было тайной, что аббат горячо желал очистить паству от таких паршивых овец, которые могли заразить все стадо.

Хотя дело это было трудное, так как пан Николай держался за свой клочок земли и пользовался уважением окрестных крестьян, но слабым местом его была бедность. В трудную минуту, он принужден был занять деньги на тяжелых условиях у немца-горожанина, а года два спустя, едучи как-то в город к своему заимодавцу, пан Николай исчез без следа.

Немец предъявил свои требования об уплате к вдове, и сумма долга оказалась таких размеров, что все именнице целиком перешло к нему; вдова же с двумя детьми, Мартыном и

Антоном, очутилась на улице. Мать скоро умерла, унеся в могилу убеждение, что муж, отвозивший в тот день уплату долга, сумма которого была гораздо меньших размеров, по его словам был убит, по наущению того же заимодавца, с целью забрать их землю, на которой он и поселил затем своего племянника.

Оставшись одни и без гроша денег, Мартын и Антон, один восемнадцати, другой шестнадцати лет, оказались вынужденными вести скитальческий образ жизни. Отличавшийся редкой красотой, истинный богатырь по сложению и силе, Антон принялся за ремесло кондотьере и воевал повсеместно, сначала на родине, а потом даже в Италии, в войсках графа Мантуанского. Но во всех превратностях его бурной жизни, два чувства нерушимо сохранялись в его душе, это – любовь к родине и жгучее, непреодолимое отвращение ко всему немецкому.

Случай свел его с графом Вальдштейном, который предложил ему у себя место учителя ратного дела, и это почетное, хорошо оплачиваемое положение понравилось Броде.

Во время долгого пребывания графа в Праге, Брода сделался постоянным слушателем проповедей Матвея из Янова, а так как в понимании Броды немец и католицизм сливались в один предмет его ненависти, то он и стал горячим приверженцем реформы. Старая религиозная закваска проснулась в нем и привела его, телом и духом, к греческому исповеданию его предков, сторонники которого продолжали существовать тайно<sup>12</sup>. Несколько лет спустя, после вступления своего на службу к графу, Брода спас жизнь пятилетнему Воку, которого чуть не забодал взбесившийся бык. Этот случай не только доставил ему расположение панов, но и создал дружбу между ребенком и его спасителем.

Пылкий и смелый характер Вока пришелся по душе старому вояке, а маленький граф полюбил охотничьи военные рассказы Броды и былины про древних героев чешских. Вся хроника Далимила прошла перед мальчиком: образы Завиша Розенберга, в ореоле любви к нему народа и мученической смерти за народное дело и чешского барона Гинека из Дубы, именем которого немки пугали детей своих, и чья могучая рука не знала иных врагов, кроме *немцев*, – рано волновали воображение ребенка.

И граф не препятствовал этому сближению: он знал, что в жилах Броды текла благородная кровь, что он любит сына и сделает его мастером всех рыцарских искусств, столь ценимых в то время.

Пользуясь предоставленной свободой, Брода поддерживал в питомце любовь к прошлому величию Чехии и, родным по крови, представителям народа – князьям. Красноречиво рассказывал он предание о евангельской проповеди Кирилла и Мефодия, во времена князя Борнвоя, и о том, как пришли беды и панские послы привели за собой иноземных поселенцев. Одни захватывали золото и земли, развращая местное духовенство и искажая чистые евангельские поучение своими измышлениями; а другие, как саранча, наводнили страну, высасывали ее кровь и пот, издевались над чехами и попирали их права и обычаи, постепенно порабощая истинных сынов страны.

Всю желчь и дикую ненависть ко всему немецкому и полное презрение к развратному, преданному чужеземцам духовенству вливал Антон в сердце молодого графа, и беседы их неизбежно должны были закончиться вступлением Вока в сношение со сторонниками старой веры и посещением их тайных собраний.

---

<sup>12</sup> Stransky. «Respublica Bojema», cap. VI, 6.

## Глава 6

Наконец, прибыл в замок и старый граф с Руженой. Вок встретил их на дворе и, поклонившись своей маленькой невесте, помог ей выйти из носилок. Окинув гордым взглядом Ружену, он, кажется, остался ею доволен и повел ее к графине. Но Ружена недружелюбно, почти враждебно взглянула на своего жениха и даже попыталась вырвать у него свою руку. Графиня Вальдштейн ей очень не понравилась, а на ее поцелуи и радостные объятия Ружена церемонно присела. словно не замечая враждебной холодности будущей невестки, графиня любезно проводила ее в роскошные покои, назначенные для богатой наследницы, и предложила отдохнуть до вечера.

За полчаса до ужина, графиня снова пришла и, приказав Иитке их сопровождать, отвела Ружену в большую залу, где их ждали: епископ, графы, отец и сын, оба священника и главнейшие слуги замка, во главе с Антоном Бродой и кастеляном.

Когда все собрались, граф Гинек торжественно провозгласил, что во исполнение воли его покойного двоюродного брата, вполне отвечающей его собственному желанию, он обручит Ружену Рабштейн со своим сыном Воком графом Вальдштейном, но что подобающее радостному событию торжественное празднование откладывается до окончания траура по случаю понесенной их семьей тяжелой утраты; самое же бракосочетание будет совершено, когда невесте исполнится шестнадцать лет.

Ружена, хоть и была еще ребенком, но, инстинктивно чувствуя важность минуты, побледнела и, когда граф-отец хотел соединить руки жениха и невесты, вырвала свою ручку и попятилась.

– Я не хочу, – прошептала она.

– Ружена! Я не думал, что ты будешь противиться желанию твоего покойного отца, – строго заметил ей граф. – Вот пан епископ, присутствовавший при его последних минутах, подтвердит тебе его волю. По доброте своей, его преосвященство выразил желание благословить ваше обручение, а ты оказываешься капризной, невоспитанной девочкой.

Ружена выросла в строгом почтении к церкви и ее служителям; к тому же, она видела Бранкассиса в дружеских отношениях с отцом, во время последнего посещения их замка, а перед такими авторитетами ее детское упорство тотчас же растаяло.

Не сопротивляясь более, она протянула свою ручку епископу, который и вложил ее в руку Вока и надел ей кольцо с изумрудом. Внезапная тоска охватила ее сердце, когда, подняв глаза на своего жениха, Ружена увидела его мрачный, блестящий неудовольствием взгляд; она с трудом сдержала слезы, повисшие на ее длинных, пушистых ресницах.

За ужином жених и невеста сидели на почетных местах, и когда пили за их здоровье, Бранкассис произнес речь по поводу важности соединяющих их уз любви и долга.

Развитая не по летам и наблюдательная Ружена подметила, что слова епископа вызвали презрительную усмешку на лице Вока, и эта непочтительность к высокому сану оратора удивила и оскорбила ее.

Когда, наконец, Ружена очутилась в своей комнате, наедине с раздевавшей ее няней, то разрыдалась.

– Иитка, зачем я должна выходить замуж за Вока? Я его никогда не видела прежде; никогда отец не упоминал его имени, – всхлипывая, лепетала она, обвив ручонками шею няни.

– Молодой граф красив, богат, настоящий вельможа и стоит тебя! Конечно, у покойного барона были свои причины выбрать его тебе в мужа. Ты еще слишком мала, Ружена, чтобы сама управлять своим громадным состоянием, и тебе нужен защитник и покровитель. Не плачь же, милая. Когда поближе узнаешь своего жениха и привыкнешь к нему, ты его полюбишь, и вы будете счастливы, – утешала Иитка, вытирая слезы, струившиеся по лицу девочки.

Но Ружена упрячилась.

– У него злые глаза, я не хочу его любить! И его мать злая, – объявила она, зарывая лицо в подушки.

На следующий день Ружена проснулась спокойнее. Большой ящик с игрушками и сладостями, присланный ей женихом, несколько смягчил ее, потом ее развлекла распаковка привезенных из дому вещей, и наконец, она отправилась в сад поиграть с Перуном.

Бегая за собакой по тенистым аллеям, она вспомнила свои прогулки с отцом; веселость ее сразу пропала, чувство одиночества сжало ее сердце, слезы брызнули из глаз, и с опущенной головой она пошла и села на скамейку, а Перун улегся у ног.

Вдруг, сквозь слезы, увидела она мальчика, который неподалеку сидел под деревом, с книгой в руках, и с любопытством ее рассматривал. Его вид, бледное личико и большие грустные глаза отвлекли Ружену от ее мрачных мыслей.

– Ты кто? Что ты тут делаешь? – спросила она.

– Я – Светомир и учу заданный мне латинский урок, – нерешительно ответил мальчик.

– Тебя зовут Светомиром, как и моего отца? Иди сюда скорей и расскажи мне, где ты живешь и кто ты такой.

Но мальчик не двинулся.

Тогда она подбежала к нему, взяла за руку и привела к скамейке.

– Какая ты красивая! Ты, верно, невеста Вока? – спросил Светомир, с восхищением оглядывая ее.

Со своими большими, лучистыми глазами и золотистой массой белокурых волос, Ружена действительно казалась неземным видением.

– Да, но я желала бы лучше не быть его невестой: он такой злой, – сказала она.

– Вот неправда! Вок – добрый, милый и защищает меня, – возразил Светомир и так горячо, что Ружена смешалась.

– А кто же ты, что тебя нужно защищать, и от кого же? – полу удивленно, полупрезрительно спросила она.

– Я сирота! Меня из милости взял на воспитание граф Вальдштейн, меня зовут Светомиром Крыжановым.

– Сигизмунд Крыжанов часто бывал у моего отца в Праге, но только это богатый пан, – перебила его Ружена.

– Это мой двоюродный дядя.

– Отчего же ты не живешь у него?

– Он и его брат враждовали с моим покойным отцом, не знаю за что. А когда отца убили на последней войне панов с королем, они меня и знать не захотели. У нас тогда ничего не осталось: дом наш сгорел, а земля была разорена во время борьбы герцога Яна Герлицкаго, против союза панского, за освобождение короля из плена. Граф Вальдштейн был другом отца и приютил меня у себя, и я семь лет, как живу здесь, а когда вырасту большой, то сделаюсь священником, хотя к этому у меня вовсе нет охоты, – и Светомир глубоко вздохнул.

– Если Вок тебе покровительствует, он не позволит, чтобы тебе насильно надели рясу.

– О! У него нет столько власти. Это его мать хочет непременно, чтобы я был священником. А вот когда духовник графини, отец Иларий, меня бьет и морит постом, так что я не знаю, что и делать от голода, тогда Вок тайком кормит меня. Он даже купил мне индульгенцию, разрешающую от постных дней, а недавно даже имел ужасное столкновение с отцом Иларием, и тот меня не так уж мучит, как раньше, – с восторгом закончил мальчик.

– Теперь я буду лучшего мнения о Воке. Но больше голодать ты уже не будешь. Приходи ко мне и ешь лакомств, сколько хочешь, а я скажу графине, что ты – мой друг и что твой наставник должен, когда я захочу, отпускать тебя со мной играть.

Разговор становился все более и более дружественным. Сиротское, одинокое положение в доме влекло их друг к другу; да и по своим летам и характеру, Светомир был гораздо ближе к Ружене, чем Вок, почти уже взрослый молодой человек. На прощанье, они сердечно расцеловались и обещали друг другу видаться как можно чаще и вместе играть.

Утром, в субботу, Вок отпросился у отца на охоту, которая, может быть, задержит его до вечера следующего дня. Граф был сам ярым охотником и дал свое согласие, тем более, что под охраной Броды он считал сына в безопасности.

Позавтракав плотно и хорошо вооружившись, не только для охоты, но и для самозащиты, в случае неожиданного нападения, они выехали со двора замка. Граф смотрел на их отъезд сверху, из окна, с равным довольством глядя на стройный, красивый облик сына и богатырское сложение сидевшего на здоровенном вороном коне Броды, которому никто не дал бы пятидесяти лет, так гибко было его мощное тело, а движение юношески ловки. Ни одного седого волоса не серебрилось в голове и бороде, черных, как вороново крыло, а в орлином взгляде, – суровом и вдумчивом, – оттененных густыми бровями глаз светилась решительность и сила.

Как и большинство чехов, особенно из мелкого дворянства, Брода презирал западный наряд – „*немецкую ливрею*”, как говаривал он, – и носил платье современного ему польского покроя. На нем был широкий суконный кунтуш со шнурами на груди и застегнутыми металлическими пуговицами, с длинными, закинутыми за спину рукавами, в прорези которых видна была исподняя одежда.

Едучи, они разговаривали между собою, и Брода рассказывал молодому графу, как отец его пострадал за привязанность к обычаям старины и как еще в юности, при короле Яне, он слушал проповеди Яна Мораванина.

– В те времена еще не преследовали так строго людей, хотевших остаться верными чистому учению евангельскому, хотя попы и тогда ненавидели их, как противников воле папской, и не упускали случая делать им разные пакости. Доказательство – мой отец, – закончил Брода.

Под вечер, они въехали в густой лес. Местность была гористая, прорезанная глубокими ущельями и утесами, местами покрытыми лесом, местами оголенными и почерневшими. Они свернули с дороги и поехали целиной, напрямик, осматриваясь по заходящему солнцу. Ветер качал верхушки деревьев и в лесу стоял смутный, зловещий гул. Кругом было дико, и надвигавшаяся темнота придавала окружающему еще более сумрачный вид. Наконец, Брода остановил лошадь.

– Слезай, пан! Здесь нам придется оставить коней и идти дальше пешком, – сказал он.

– А найдем ли мы их потом, да еще в такой темноте? – заботливо спросил Вок.

– Не бойся, я хорошо знаю все здешние места, – успокоил Брода, сходя на землю.

Лошадей расседлали и привязали, а Брода, взяв своего питомца за руку, повел его в чащу леса. Но едва сделали они несколько шагов, как из-за дерева вынырнула человеческая фигура с обнаженным мечем и преградила им дорогу.

– Кто идет? – спросила тень.

– Братья, грядущие в храм Сиона, – ответил Брода. – Пропусти нас, Иост, да присмотри за лошадьми.

После нескольких минут ходьбы они вышли из чащи. Перед ними была небольшая, но глубокая котловина, загроможденная скалами; а в глубине ее, там и сям, мелькали красноватые огоньки.

– Вот место наших собраний. Поспели мы как раз вовремя, – сказал Брода и стал осторожно спускаться вниз по извивавшейся змейкой тропинке.

На лужайке собралось уже человек около двухсот народу, самого разнообразного вида, пола и возраста. Большинство были крестьяне, но были пань, ремесленники и даже женщины. На всех лицах читалось торжественное настроение минуты.

На большом, возвышавшемся над долиной камне устроен был алтарь, и множество факелов ярко озаряло большой серебряный крест, евангелие в золоченом переплете и высокую фигуру старого священника. Худое лицо его дышало вдохновением, и глаза возбужденно горели.

Брода и Вок пробрались через толпу и стали на колени, справа от алтаря.

– Настали печальные времена, братья мои, – говорил в эту минуту проповедник, и его звучный, глубоко прочувствованный голос гулко разносился по долине. – Тяжелый гнет давит нас, если верные сыны Христовы, чтобы совершать Божественное таинство, вынуждены собираться, как воры, по ночам. Но не падайте духом! Первые христиане претерпели больше нашего и так же сходились в подземельях и укромных местах, скрываясь от ярости поганых язычников. Мы же бежим от гнева трехкоронного, двуликого, как гнилой плод развалившегося антихриста, одна, половина которого сидит в Риме, а другая в Авиньоне. И эти-то преисполненные гордыни и обуреваемые страстями люди осмеливаются заслонять евангельские истины собственными измышлениями! Где сказано у Спасителя, что учение Его должно проповедовать на языке, неведомом слушателям? А ведь нам навязывают латинскую мессу и хотят уверить, что чешский язык не достоин раздаваться перед алтарем. Будто не все народы и языки равны у Господа! Но это еще ничто перед кощунственной наглостью касаться Божественнейшего из таинств, – Св. Евхаристии, – и сметь разделять то, что сам Христос соединил на веки. Преломив хлеб, Он сказал: «примите, ядите; сие есть тело Мое», и подал чашу, со словами: «пейте из нее все, ибо сие есть кровь Моя нового завета». Об эти слова Христа должны были бы разбиться, как о скалу, все праздные разглагольствования, все умствование человеческое! К несчастью, не так на деле: одни по слабости и невежеству, другие по низости и тщеславию, допускают лишать себя столь драгоценного блага, как чаша – этот восприемник крови Божественной, неиссякаемый источник духовных благ, здоровья души и тела. Мы же останемся верными завету Христову, и никакое гонение не помешает нам собираться и молиться так, как делали это наши отцы!..

Одобрительный шепот приветствовал слова проповедника. Богослужение совершилось, и священник стал приобщать под обоими видами<sup>13</sup> присутствующих, которые по очереди проходили перед чашей, спокойные, сосредоточенные, исполненные восторженной веры. Озаренная лишь светом факелов, картина была невыразимо торжественна и носила отпечаток чего-то мистического.

Вок был увлечен примером и религиозным экстазом других, заразительным особенно для пылкой, молодой души его; дрожа от волнения, подошел он и, в первый раз в жизни, приобщился телом и кровью.

Богослужение закончилось, престол и священные предметы мигом убрали, развели костры, и все сели на траву, вперемежку. Из больших корзин достали жареное мясо, вино и хлеб и принялись за братскую трапезу. Когда первый голод был утолен и кубки заходили в круговую, поднялся Брода и взоры всех обратились на него.

– Друзья и братья во Христе! Уважаемый отец Николай только что подкрепил души наши причастием и мудрыми словами своими. Дозвольте старому солдату изложить вам размышление, на которое навели его опыт долгой жизни и выслушанная нами проповедь. Истинная правда, что мы, как воры, собираемся на богослужение, которое каждый христианин имеет право совершать при свете Божиим. Отчего? Кто причина этого несправедливого гонения? Иноземцы, папы-итальянцы и их дьявольская подмога – немцы! Когда еще император Карл взошел на трон, чашу беспрепятственно давали верующим. Он сам и императрица Бланка<sup>14</sup>,

---

<sup>13</sup> Pelzel. Urkundenbuch zum erstentheile „Leben Kaisers Karl IV, Письмо Карла IV, удостоверяющее, что в стране много еретиков, не желающих слушать писание на латинском языке.

<sup>14</sup> Pelzel. „Leben Kaisers Karl IV, часть 1, стр. 180.

при короновании, приобщались под обоими видами. А теперь? С тех пор, как открыли университет<sup>15</sup>, чужеземцы забрали такую власть, что немец поставил ногу свою нам на голову и заставил нас отрешиться даже от учения Христова! Ведь кто с большей силой и упорством стоит за кощунственное новшество – причащение одним хлебом? Немцы-профессора и студенты, вытесняющие чехов из университета, как бюргеры изгоняют их из городов и с должностей, а колонисты с земли. Разве это не верх наглости? Не настало ли время положить предел унижению нашего народа! Да, друзья и братья, я чувствую, что приближается пора решительной борьбы, и каждый из нас должен быть готов к войне беспощадной, ибо мир между немцами и нами – наша погибель! Вековой враг – страшный враг; ему все средства хороши, чтобы только нас уничтожить. Ни совесть, ни честь, ни человеколюбие не остановят его; насилие, измена, подлость и обман, – все дозволено относительно чеха. Одно забыли они, – что мы все те же самые чехи, из которых вышли богатыри, – как смелый Забой и храбрый Бених Германович; что в тот день, когда страна проснется, она раздавит под своей пятой немецкую змею! Для этого часа, братья, подготовим солдат и военачальников. Пусть каждый работает по мере сил своих: поддерживает тех, кто колеблется, и ободряет тех, кто борется за наш язык, старину, и обычаи и отвоевывает подходящее нам место.

Цель стоит борьбы: Чехия для чехов, счастливая, свободная жизнь стародавних времен, под охраной исконных законов, и изгнание чужеземцев!

Брода воодушевился, в глазах его блестела отвага и вдохновение, а мощной рукой он нервно сжимал рукоять висевшего у пояса оружия.

При красноватом свете костра и факелов, его могучая, широкогрудая, плечистая фигура, с характерным лицом, дышавшим умом и силой, казалась живым воплощением того легендарного героя, имя которого он воскресил в памяти слушателей, а также олицетворением терпеливого, героического чешского народа, сломить которого не могли двенадцать веков неустанной борьбы, который и поныне, как доблестный, верный часовой, стоит на страже Славянства.

Почувствовали ли инстинктивно слушатели Броды горячий порыв любви к отечеству и веры в грядущее, исходивший от этого будущего солдата войск Жижки, но из всех уст, даже женщин, вырвался единодушный крик:

– Да живет Чехия! Смерть немцам!

Тогда встал старый священник.

– Ничто не совершается, братья мои, без воли Божией! Вымолим же у Отца Небесного не смерть грешникам, а их изгнание, помня слова Господни. „Мне отмщение и Аз воздам”.

Он опустил на колени и запел молитву, которую повторяли за ним хором присутствующие:

«Царь Небесный! Услышь народ твой чешский. Внемли нам и ниспошли счастливые дни»<sup>16</sup>

После молитвы, условившись о новой сходке будущей весной, поговорив еще некоторое время и поклявшись друг другу неустанно бороться с врагом, собрание стало тихо расходиться.

На впечатлительную натуру Вока все это произвело неизгладимое, подавляющее впечатление. Долго ехал он задумчиво рядом с Бродой, как вдруг взял его за руку, и перегнувшись к нему с седла, страстно прошептал:

– Брода, я тоже буду работать над освобождением родины и защитой слова Христова.

– Верю, пан граф, и принимаю обещание! Пусть все знатные и богатые люди, как ты, присоединятся к нам, и мы восторжествуем... Пока, помни одно: все, что ты видел и слышал, должно быть ненарушимой тайной. А затем, на заре, нам надо будет поохотиться, чтобы не с пустыми руками вернуться домой и тем не возбудить подозрений, – улыбаясь, ответил Брода.

---

<sup>15</sup> Пальмов, «Вопрос о чаше гуситском движении».

<sup>16</sup> Ernest Denis, стр. 60.

И смелый охотник сдержал слово. Когда, вечером, они прибыли в замок, кабанья башка и окорока украшали крупы их лошадей.

Ружена мало-помалу свыкалась с окружающей ее новой обстановкой. Граф и его жена старались всеми силами привязать к себе девочку, баловали ее и подчинялись всем ее капризам.

Между Руженой и ее веселым, добродушным опекуном доброе согласие воцарилось довольно скоро; но зато графиня, несмотря на всю свою ласку, оставалась ей антипатичной и ничто не могло победить в ребенке инстинктивное отвращение к тетке. Вок тоже относился дружелюбно и предупредительно к своей маленькой невесте, зарождающейся красотой которой он даже гордился. Но значительная пока разница в годах мешала полному между ними согласию; да кроме того, живой, предприимчивый характер юноши гнал его прочь от родительского дома, с его однообразной, тоскливой жизнью, и задерживал его на недели и месяцы вдали от своих.

Лучшим другом и неразлучным сотоварищем Ружены был Светомир. Жизнь его много изменилась со времени приезда маленькой благодетельницы, защита которой оказалась гораздо существеннее и влиятельнее покровительства молодого графа.

Своим тонким, наблюдательным умом, Ружена сразу поняла, что ее берегут и стараются приласкать; к тому же, граф был гораздо добрее жены, и она выпросила у него, чтобы Светомир всегда сидел с нею рядом за обедом, и если его не оказывалось на месте, то она ни до чего не дотрагивалась. С не меньшим упорством добилась она того, чтобы он являлся играть с ней, лишь только кончал уроки; в первый же раз, как отец Иларий осмелился наказать мальчика розгами, Ружена разрыдалась и так была потрясена, что напуганная графиня попросила своего духовника быть осторожнее относительно воспитанника, умерить строгость и не возбуждать столкновений с ее будущей невесткой из-за таких пустяков, как учение „этого болвана Светомира“.

Так, относительно мирно, текла жизнь в замке Вальдштейн, но за его стенами развивались политические события чрезвычайной важности, заливая Чехию кровью и наполняя ее ужасами междоусобной войны.

Несколько месяцев спустя после прибытия Ружены, граф отец отправился ко двору короля, ожидавшего тогда приезда своего брата – Сигизмунда, короля венгерского.

Фальшивый, бесчестный человек, всю свою жизнь жадно смотревший на наследие Вацлава, Сигизмунд, где только мог, злоупотреблял его доверием и теперь надеялся воспользоваться предстоящим свиданием, чтобы привести в исполнение постановление тайного соглашения, заключенного им против брата с союзом панским и герцогами австрийскими.<sup>17</sup> Вынудив затем у Вацлава согласие на назначение его старостой (наместником) королевства, он, при первом удобном случае, заключил короля в его же собственном дворце. Два последовавшие за сим года были тяжелым временем смут и непрестанной войны. Сигизмунд давил страну налогами и наводнил шайками враждебных мадьяр, набеги которых опустошали Чехию грабежами и пожарами, словно завоеванную землю.

Такое поведение Сигизмунда возмутило народ и привлекло на сторону Вацлава значительное число панов; занятие же Кутной горы, с которой был взят безжалостный выкуп, и откуда король венгерский похитил сокровища Вацлава, еще более разожгло всеобщее негодование.<sup>18</sup>

Во всех этих событиях граф Вальдштейн принимал деятельное участие, а на большинство воинских предприятий его сопровождал и сын, блистая храбростью в битвах; горячая, удалая натура Вока словно была создана для боевой жизни. Собственный же их замок был

---

<sup>17</sup> Palacky. «Geschichte von Bohmen». т. III, стр. 144.

<sup>18</sup> Palacky. «G. v. B.», стр. 149.

снабжен сильным гарнизоном, обеспечен продовольствием, и главное надо всем начальствова-ние было поручено Броде, на верность и опытность которого можно было положиться. Иногда и сам граф наезжал домой, на несколько дней, чтобы повидаться со своими, осмотреть стражу и дать соответствующие указания.

В один из таких приездов, он привез с собой девочку, на год или два старше Ружены, к которой и определил ее в подруги. Девочку эту звали Анной, и она была сестрой молодого чешского дворянина, Яна Жижки из Троцнова, сражавшегося в партии короля и бывшего заклятым врагом Генриха из Розенберга. Обширные владения последнего с трех сторон окружали небольшое поместье Яна, и потому, тот немало вытерпел притеснений со стороны властного соседа. Это обстоятельство завоевало ему особое расположение графа Вальдштейна, который ненавидел Розенберга не только как политического врага, но таил против него злобу за обидные, распускаемые тем на его счет слухи по поводу смерти барона Рабштейна и обручение Ружены с Воком, которое пан Розенберг, не стесняясь, называл захватом наследства.

Во время опустошавшей Чехию братоубийственной войны, замок Троцнов был разорен воинами Розенберга.<sup>19</sup> Проживавшая там старая родственница Яна Жижки была убита, а его брат и сестра Анна с трудом спаслись. Узнав об этом, Вальдштейн предложил Яну взять на свое попечение его сестру, чтобы та росла вместе с его воспитанницей, до той поры, пока восстановление спокойствия в стране даст возможность молодому человеку устроиться как-нибудь иначе.

Чехия жаждала возврата Вацлава к власти, но король пребывал в заточении, в Вене, и, несмотря на все внешние почести, сторожился зорко.

К осени 1403 г. некоторые паны, в числе их Вальдштейн и Ян Лихтенштейн, составили заговор с целью освободить короля.<sup>20</sup> Несмотря на свою молодость, Вок играл в этом деле важную роль и, переодетый, пробрался в Вену, где сумел склонить на свою сторону священника мальтийского ордена, Богуша, который имел доступ к Вацлаву.

От него молодой граф узнал, что надзор над царственным узником к этому времени значительно ослабел, в виду того, что король, по-видимому, примирился со своею участью.

Пользуясь этим, при помощи того же священника, Вок составил простой, но смелый план бегства, о чем уведомил своего отца.

Все удалось как нельзя лучше: 11 ноября 1403 г., после полудня, переодетый Вацлав выбрался из своей тюрьмы и беспрепятственно достиг берега Дуная, где Вок, под видом рыбака, ждал его с лодкой. Переплыв реку, они добрались до Штадлау, где уже были Лихтенштейн и Вальдштейн с друзьями, и 50 арбалетчиков.

Прежде всего, король поспешил в замок Микулов (Никольсбург), в Моравии, затем на Кутную гору, а оттуда уже в Прагу, куда въехал торжественно. Население повсюду восторженно встречало его, как своего избавителя, и возобновило присягу на верность. Всем надоела неурядица, хотелось порядка и мира, которые сулило возвращение к власти законного государя.

Это счастливое событие послужило источником милостей Вацлава к обоим Вальдштейнам. Король полюбил Вока и приблизил его к себе, и тот поселился в Праге, где хотел прослушать курс университета по изящным искусствам, что было тогда в моде и должно было завершить образование знатного юноши.

---

<sup>19</sup> Томек. «Ян Жижка».

<sup>20</sup> Palacky. «G. V. B.» ч. III, стр. 153.

## Глава 7

Было 25 декабря 1408 г., и в Праге праздновалось Рождество. Весь город был в движении. На площадях, в наскоро сколоченных дощатых балаганах, бойко торговали сладостями и игрушками, разными священными предметами и т. п.

Бродячие скоморохи показывали свою силу и ловкость; в толпе сновали гадалки, и какой-то знахарь, взобравшись на повозку, громко выкрикивал разные средства для красоты, талисманы, возбуждающие любовь, мази, возвращающие седым волосам их прежний цвет, настойки, излечивающие от всех болезней, и заговоренные деньги, пособляющие торговле. Весело смеялся и толкаясь, народ поедая сласти, слушал предсказания и накопил всевозможных снадобий и талисманов. Тем не менее, внимательный наблюдатель заметил бы, что веселость и беспечность толпы были скорее кажущимися, чем действительными, и проявлялись искренно лишь у женщин, да у детей.

Мужчины, наоборот, собирались кучками и шумно обсуждали, кто по-чешски, кто по-немецки, разные вопросы, касавшиеся папы Григория XII, короля, Гуса, Пизанского собора и деление голосов по народностям в университете. Надо заметить, что чехи и немцы собирались особо, а враждебные взгляды и вызывающие речи, которыми они перебрасывались, не обещали ничего хорошего.

Два человека в темных плащах проходили молча по большой площади Нового города, не вмешиваясь ни в одну из кучек. Один из них был Брода, учитель ратного искусства графа Вальдштейна.

Минувшее время, казалось, бесследно пронеслось над ним: его высокая и мощная фигура все еще была стройна и гибка, по-прежнему от него веяло спокойной, уверенной в своем могуществе силой и несокрушимым здоровьем, а зоркие глаза не утратили блеска и строго смотрели из-под нависших бровей. Лишь пробивавшиеся в волосах серебряные нити, да морщины в углах глаз указывали, что и он поддается натиску времени.

Спутник его был молодой человек, лет двадцати, высокий и худощавый. Бледное и нежное, как у девушки, лицо его было тонко и правильно; густые, белокурые волосы покрывали голову; серые, добрые глаза светились умом. В эту минуту грусть туманила его взор, и выражение неудовольствия застыло на его розовых, тонко очерченных губах.

Занятые своими мыслями, они молча дошли до угла площади. Там была харчевня и в широко раскрытую дверь виднелась большая зала, уставленная столами и скамейками, а в самой глубине устроена была стойка со жбанками и бутылками. Над громадным очагом, на вертелах, жарились дичь и мясо, и теплый, вкусно пахнувший воздух чувствовался даже на улице. Брода остановился, потянул в себя запах съестного и затем, обращаясь к спутнику, сказал:

– Зайдем, Светомир! Поедим дичины, да выпьем по кружке вина! Ты ничего не ел сегодня, это не годится; ведь ты еще не монах, черт возьми! Не из пустого живота идут нужные мысли.

Молодой человек заглянул в залу и затем, словно желая отогнать докучные думы, провел рукой по лицу.

– Хорошо, зайдем! – ответил он. – Только там сидит толпа немцев и, должно быть, пьяных.

– А пусть себе их сидят. Вот еще! Недостает только, чтобы мы стали стеснять себя, боясь их потревожить, – насмешливо сказал Брода, входя во внутрь.

Зала была битком набита народом: почти все столы были заняты немцами, – бюргерами, студентами и монахами, – и только в глубине, у самого очага, сидело несколько кучек чехов, беседовавших вполголоса; то были по преимуществу рабочие и ремесленники. Брода и Светомир заняли пустые места у стола, за которым уже сидели двое, – толстый купец и студент;

они смерили сперва вновь пришедших недружелюбным взглядом, а потом продолжали громко беседовать с соседними столами.

Говорили по-немецки и обсуждали жгучие вопросы дня: раскол двух пап, которому собор кардиналов в Пизе должен был положить конец, и распределение голосов в университете. Студент рассказывал, что, несколько дней перед тем, у ректора Генриха фон Бальтенгагена<sup>21</sup> состоялось большое совещание, на котором присутствовали уполномоченные архиепископа, и после оживленных прений и великолепной речи магистра Гюбнера большинством было постановлено, что духовенство и университет останутся верными папе Григорию XII.

– Умно и справедливо! Христиане не могут играть совестью, согласно требованию минуты, и перебрасываться папами, точно это яблоки, а не главы христианской церкви, – крикнул богато одетый, красноречивый бюргер.

– Да, ты прав, Готхольд! Мы все останемся послушными папе Григорию XII, и в виду решения такого почтенного собрания король, конечно, не уступит наветам виклефистов и не даст своего одобрения кардиналам, – добавил другой немец.

– Будем надеяться! Да, в самом деле, пора прекратить нечестивые происки этих сектантов. По их милости, вся Богемия заподозрена в ереси и осрамлена перед лицом христианского мира, – заговорил первый бюргер и добавил несколько обидных слов для чешской национальной партии, и ее попыток восстановить права своего народа.

– Ничего они не достигнут, так так, мы – голова и руки в стране! Чем бы были эти глупые дикари без нас? Прозябали бы в невежестве, как скоты, если бы мы, немцы, не внесли к ним нашу науку, нашу промышленность, наши законы и обычаи, которые только и обратили их в людей! – хвастливо сказал студент.

Бросив искоса взгляд на Светомира, лицо которого, то бледнело, то краснело при его наглых словах, он ироническим тоном продолжал:

– Повторяю, они ничего не достигнут, так как мы – народ господ, созданный, чтобы повелевать низшими расами. Но, во избежание бесполезных волнений и чтобы в корне пресечь их забавные требования, надо подрезать языки у таких опасных болтунов, как Иероним и Ян Гус. Они не благочестие проповедуют, а разжигают ненависть; как собаки, набрасываются они на высших духовных сановников и радуются, что обдают их грязью перед сапожниками, свинопасами и разным сбродом, который их слушает.

Брода, казалось, не обращал ни малейшего внимания на вызывающие речи соседей и с аппетитом уплетал кусок гуся, запивая вином, и лишь украдкой поглядывал, время от времени, на толстого бюргера, круглое, жирное и красное лицо которого сияло чванством. Но при имени Гуса он оттолкнул тарелку и, обратившись к немцам, ударил кулаком по столу, со словами:

– Довольно, панове! Я советовал бы вам оставить вифлеемского проповедника в покое! Кому же бичевать пороки, как не ему – образцу всех христианских доблестей.

– Тебе-то какое дело, болван? – перебил его негодующий студент. – Этот твой образец добродетели – еретик, которого король в один прекрасный день сожжет, как и обещал ему недавно. Теперь, каналья, заболел от страха и, говорят, издыхает.

– Не стоит горячиться, Готхольд! Что нам до какого-то чешского бродяжки, – с презрительным смехом заметил жирный немец. – Это, должно быть, один из свинопасов Гуса, о котором ты сейчас рассказывал.

– Верно, немецкий пьяница! – заревел Брода. – Я свинопас и вот как я поступаю с иноземными свиньями, когда они посмеют напасть на мое стадо.

Он грозно встал во весь свой рост и в миг, раньше, чем кто-либо успел опомниться, очутился подле бюргера; схватив одной рукой за пояс, а другой – за шиворот, он поднял его

---

<sup>21</sup> Надлер, стр. 249.

на воздух, как ребенка, и выбросил вон из зала. Как камень из пращи, пролетел бургер над столами, опрокинул по дороге нескольких прохожих и шлепнулся на мостовую.

Снаружи донесся шум, но в самой зале первое время царило гробовое молчание. Вдруг, немцы в ярости поднялись поголовно с криками и ругательствами; в руках заблестело оружие, а над головами замелькали жбаны и кружки, несмотря на горячий протест хозяина.

В эту минуту в дверях показался выброшенный бургер, весь в грязи, с окровавленным лицом, и, как бешеный, с пеной у рта, бросился на Броду. Но тот, вместе с Светомиром, обнажили мечи и совершенно спокойно отбивались от нападавших; да и все находившиеся в зале чехи присоединились к ним, и началась общая свалка. Ужасные крики, шум и грохот разбиваемой посуды, столов и скамеек собрали толпу перед входной дверью, и народ, если не делом, то словами принимал живое участие в сумятице.

Оружием пролагая себе дорогу, Брода и Светомир пробрались к выходу. И только что вышли они на улицу, как к месту побоища подошел отряд полицейской стражи, вызванный кем-то из горожан. Но большинство зрителей было на стороне Броды, подвиг которого передавался из уст в уста; толпа расступилась и, как стеной, защитила его с Светомиром.

Оба они давно уже успели скрыться в переулке, раньше, чем начальник стражи понял, в чем дело.

– Хороший урок задал ты этому немцу-хвастуну, – смеясь, сказал Светомир, шагая сзади Броды.

– Вот как он расквасил себе нос на мостовой, так теперь долго не будет его задирать! Пойдем к Жижке, я непременно хочу рассказать ему наше приключение; это его очень позабавит, – весело ответил Брода.

Бодрым шагом перешли они знаменитый, построенный Карлом IV мост через Влтаву и свернули в пустынный, извилистый переулок в Старом месте (городе).

Настала уже ночь, когда они остановились перед бедным на вид домиком, и им пришлось ощупью пробираться по узкой и крутой лестнице. Наконец, они постучались в дверь, из-под которой пробивалась полоса света.

В большой, но просто обставленной комнате, у стены, помещалась широкая, с шерстяными занавесками, кровать, а посередине, вокруг стола, освещенного масляной лампой, сидело трое: старушка, чистившая яблоки и присматривавшая за маленькой, пятилетней девочкой, которая тут же играла с деревянным барашком, и молодой человек, лет тридцати, с умным, смелым лицом. Темные глаза его строго блестели из-под густых бровей; рот был большой, оттененный рыжеватыми усами; волосы на голове были острижены в щетку, и короткая бородка обрамляла лицо. В нем чувствовалась загадочная, громадная, просившаяся наружу сила, проглядывала какая-то странная смесь врожденной суровости, благородства и даже великодушия.

На Жижке, как и на Броде, было платье польского покроя. Он сидел и писал, но при входе гостей встал, чтобы поздороваться с ними и, обращаясь к старушке, обменивавшейся рукопожатиями с вошедшими, сказал:

– Милая тетушка, уведи ребенка, да подай нам вина.

– А девочка у тебя прехорошенькая и славно выросла, – заметил Брода, пока они усаживались вокруг стола.

– Она удивительно похожа на покойную жену и тетушка смотрит за ней, как за собственным ребенком, – ответил Жижка, наливая вино в медные кружки, принесенные старушкой.

Брода принялся довольным тоном, хотя и сердясь по временам, рассказывать случай в гостинице; а Жижка, в свою очередь, описал предпринятый им несколько месяцев тому назад против Розенбергов смелый набег, во время которого он, во главе отважных товарищей, разорил владение своих всесильных врагов и взял с них выкуп.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Томек. «Ян Жижка».

Светомир не принимал участие в разговоре и снова впал в мрачную задумчивость, ничего не видя и не слыша.

– Что это с Светомиром, он сегодня какой-то странный? – осведомился Жижка, все время наблюдавший за юношей.

– Бедняга получил вчера вечером дурные вести, и я не знаю даже, как ему помочь, – со вздохом ответил Брода. – Вот, собственно, в чем дело. Ты, должно быть, знаешь, что графиня Вальдштейн задумала – черт знает, зачем – упрятать Светомира в попы, несмотря на отвращение его к духовному ремеслу. Я всегда подозревал, что главный зачинщик тут – негодяй Иларий, ненавидящий бедного малого. Насколько мог, я всегда противился этому плану, при помощи молодого графа, который, чтобы выиграть время, упрямил отца разрешить Светомиру прослушать курс богословия в университете прежде, чем он примет пострижение. Так как у него еще два года впереди, то мы были совершенно покойны; вдруг, вчера является приказание немедленно явиться в Бревновский монастырь и поступить в послушники...

– Я не понимаю, кто же пишет или по чьему поручению, – перебил его Жижка. – Графиня, ты говорил, находится в чужих краях, вместе со своим духовником. Кто же мог отдать такое приказание?

– Правда, графиня уехала в Италию шесть месяцев тому назад продавать доставшуюся ей по наследству землю. Теперь продажа состоялась, и она отправилась в Болонью навестить двоюродного брата своего, епископа Бранкассиса, и кардинала-легата Балтазара Коссу, который тоже ей сродни. У них-то она встретила настоятеля Бревновского монастыря и поспешила отдать Светомира к нему под начало; а мерзавец Иларий торопится обрадовать приятным известием беднягу, который от всей души ненавидит рясу. Я понимаю, если бы они решили отдать его в белое духовенство; ну, можно было бы купить ему приход и, словом, обеспечить его будущность. Но делать из него монаха?!..

– Я не желаю быть ни тем, ни другим! Прежде, чем они меня постригут, я брошусь в Влтаву, – решительно сказал Светомир дрожавшим от волнения голосом.

– Ну, ну! Если уж не дорожить жизнью, так можно, по крайней мере, пожертвовать ею за что-нибудь высокое и полезное, – сказал Жижка. – А вот какая мысль пришла мне в голову. На этих днях я еду в Краков, где у меня есть друзья среди польской знати. Едем со мной, и поступай на службу к королю Владиславу! Молодого воина всюду и всегда хорошо примут, а я думаю, что могу помочь тебе на этом пути и снискать расположение высокого панства. Так хочешь?

Лицо Светомира расцвело от счастья.

– Конечно, хочу, – радостно вскричал он, протягивая обе руки Жижке. – Увези меня, Ян, и клянусь, что я не посрамлю твоей поруки! Я готов честно сражаться и умереть за короля; но зато я буду свободен и избавлюсь от ярма, которое на меня хотят надеть взамен приюта и куска хлеба.

Жижка сердечно ответил на его рукопожатие.

– По рукам, значит! Пока делай вид, что повинешься, а затем, вместо Бревнова, ты отправишься по дороге, которая ведет в Краков. Ну, да здравствует меч, вместо кропила!

– Да здравствует! – радостно чокнулся с ним Светомир и вдруг побледнел. – Одно я забыл, – дрогнувшим голосом сказал он. – Ведь у меня ничего нет, ни денег, ни снаряжения, а как же ехать без этого?

– Нужное найдется: коня и меч я дам тебе, а остальное ты получишь там, где будешь служить, – успокоил его Брода.

– Пожалуйста, не расстраивай себя! Я везу тебя в Краков и устраиваю там, это решено! И тронемся мы с тобой после Нового года; мне только надо съездить в Рабштейн, проститься с сестрой Анной, – сказал Жижка.

– О, я и туда поеду! Мне ведь тоже надо проститься с Руженой, прежде чем ехать на чужую сторону, и, может быть, навсегда, – оживленно заметил юноша. – А чтобы отклонить всякое подозрение, я сегодня же напишу настоятелю монастыря и возведу ему скорое прибытие усерднейшего и покорнейшего из послушников, – со смехом закончил Светомир.

Обсудив еще некоторые подробности этого, неожиданно родившегося плана, приятели расстались.

Недалеко от Тынского храма, в той улице Старого места (города), которая ныне носит название Ступартовой,<sup>23</sup> стоял большой, прекрасный дом с высокой остроконечной крышей, лепными украшениями поверх входной двери и разноцветными стеклами. Дом этот принадлежал профессору Иоганну Гюбнеру, и все дышало в нем щепетильной, немецкой опрятностью. В просторной и богато обставленной комнате, которая служила рабочим кабинетом, судя по множеству полок, уставленных книгами и пергаментами, – в кресле с высокой спинкой, за столом, у окна, сидел сам хозяин.

Профессор Гюбнер был человек лет пятидесяти, высокий, худой, но бодрый. Тощее, с выдающимися скулами лицо его дышало самодовольством; низкий лоб и острый подбородок указывали на упрямую, грубо-страстную натуру. Маленькие, светлые, выцветшие глазки в эту минуту злобно блестя.

Против него сидел коренастый, тучный человек в богатом наряде из темного сукна и с золотой цепью на шее. Какое-то приключившееся с ним несчастье настолько попортило толстую, надменную физиономию бюргера, что составить себе представление о его обычной наружности теперь было трудно. Синебагровая опухоль шла от лба к щеке, под распухшим, полужакрытым глазом виднелся кровоподтек, пластырь залеплял нос, а на верхней губе был шрам с запекшейся кровью.

– Это просто неслыханно, что с вами случилось, мейстер Кунц! Я удивляюсь, как смели упустить этого негодяя-чеха, посмевшего напасть на одного из почтеннейших граждан и чуть было вас не убившего.

– Мерзавец скрылся в толпе, но я его найду, и он ничего не потеряет, если подождет расплаты за нанесенное мне оскорбление, – ворчал бюргер, сжимая кулаки.

– Да это настоящий Геркулес?

– Положим, он велик ростом и плечист, но я не поверил бы, что найдется человек, который может поднять меня и выбросить как мячик. Скажу больше, я и думать не мог, чтобы чех осмелился публично наброситься на меня, Лейнхардта, первого во всей Праге купца. Они стали чересчур уж дерзки, эти собаки! К счастью, подстрекатель их, Гус, теперь при последнем издыхании: он не мог переварить угощение, которое поднес им король по поводу вопроса о голосах. А, кстати, дорогой профессор, вы мне еще не рассказали подробности приема во дворце. Мое отсутствие, а затем этот несчастный случай; прoderжавший меня десять дней дома, лишили меня удовольствия видеться с вами. Я знаю только, что вы получили полное удовлетворение справедливым требованиям национальных прав.

– О, да! И признаюсь, я совсем не рассчитывал на счастливый исход. Вы знаете, мейстер Лейнхардт, как король покровительствует чехам, и какое влияние имеет Гус на него и на королеву. Итак, с тяжелым сердцем, ректор, я и другие прибыли на Кутенберг. В зале, куда нас ввели, находилась уже чешская депутация с Гусом и Иеронимом, которые презрительно смерили нас взглядами, когда мы встали в стороне; их самодовольство нас еще более смутило. Несколько времени спустя вошел король. Он видимо был не в духе, что тоже предвещало мало хорошего, но как же мы были поражены, когда, подойдя к нам, он милостиво выслушал мою речь, уверил нас в его неизменной благосклонности и обещал сполна поддержать все наши права. Пока король говорил, я с удовольствием наблюдал разочарование и беспокойство чехов;

---

<sup>23</sup> Palacky. «G. v. B.», III, стр. 111.

едва стал излагать свои требования Гус, как король вдруг побагровел, оборвал поток его красноречия и закричал на него: „Молчи! Ты и твой друг Иероним, оба вы смутьяны! Мне надоели, наконец, ваши вечные жалобы и все ваши затеи, которые опозорили Богемию в глазах христианского мира и навлекли на нее подозрение в ереси. Если те, на чьей обязанности лежит водворить порядок, этого не сделают, то я вас обоих пошлю на костер”.<sup>24</sup>

Оба эти крикуна, Гус и Иероним, были совершенно подавлены словами короля и удалились, не промолвив ни слова. Но с тех пор все чешское гнездо закопошилось. – Каждый день у Змирзлика<sup>25</sup> происходят заседания, – я это вижу отсюда. Да вот, смотрите, трое выходят из противоположного дома; они совещались уж больше двух часов.

Бюргер с любопытством нагнулся к окну и увидел трех человек, которые проходили как раз мимо дома Гюбнера.

– Один – Николай Лобковиц, другой – Симон Тишнов; а кто же этот красивый молодой человек в синем плаще?

– Это молодой граф Вокс фон Вальдштейн. Он путешествовал в чужих краях и вернулся незадолго до поездки короля в Силезию. Ну, да пусть их; а мы вернемся к нашему разговору, – ответил Гюбнер, снова усаживаясь в кресло. – Вы сказали, когда вошли, дорогой мейстер Кунц, что вас привело ко мне важное дело, но потом мы отвлеклись в сторону. Теперь я к вашим услугам и очень желаю быть вам полезным.

Кунц Лейнхардт принял важный вид и, выпив предварительно стоявший перед ним кубок вина, сказал:

– Да, почтеннейший магистр Гюбнер, я пришел по важному делу, как посол моего сына Гинца, просить руки вашей очаровательной племянницы, Марги. Мой мальчик до безумия в нее влюбился; если вы ничего не имеете против союза наших семейств, то полагаю, что будете довольны тем положением, которое я готовлю Гинцу и его молодой хозяйке. Я приобрел для него от старого Клопера пивоваренный завод; а бойни думаю отдать моему младшему сыну Якобу. Теперь, уважаемый магистр, скажите, что вы об этом думаете?

Гюбнер протянул ему руку.

– Скажу, что с радостью принимаю ваше почтенное предложение и ни минуты не сомневаюсь, что Марга будет горда и счастлива сделаться женой такого славного и богатого малого, как ваш Гинц. Передайте ему, чтобы он завтра же приходил за обручальным поцелуем, а мы, старики, разопьем в честь жениха и невесты жбан старого вина.

Они расцеловались и, обсудив затем вопросы о приданом, времени свадьбы, официальной помолвке и разные другие подробности, простились, очень довольные друг другом.

Едва ушел Кунц, как Гюбнер кликнул слугу и приказал звать к себе невестку с дочерью.

– Не знаю, вернулись ли они из города, – ответил слуга, идя исполнять приказание.

Через полчаса невестка и племянница входили в кабинет Гюбнера.

Первая была женщина средних лет, с грустным, покорно-кротким лицом; вторая – молодая немочка, лет восемнадцати, высокая, стройная и очень хорошенькая. Ее свежее личико, с румяными щечками, освещенное парой больших голубых глаз, дышало здоровьем и беззаботной веселостью. Две тяжелые белокурые косы свешивались ниже колен.

Она, смеясь, подбежала к Гюбнеру, поднимая кверху сверток, который держала в руке.

– Посмотри, дядя Иоганн, какую славную материю я купила на те деньги, что ты подарил мне на Рождество.

Профессор пощупал материю, потом ласково потрепал девушку по бархатистой щечке.

– Великолепная! И я тем более одобряю твой выбор, Марга, что скоро тебе предстоит особенно наряжаться. У меня есть приятная новость для тебя, крошка, да и для тебя, моя

---

<sup>24</sup> Palacky. «G. v. B.», III, стр. 230.

<sup>25</sup> Heifert. «Hus und Hieronimus», 103.

добрая Луиза! Что ж, сердечко твое ничего тебе на шепчет, притворщица? – и он, прищуря один глаз, лукаво посмотрел на нее.

Миловидное личико Марги зарделось, и кусок материи выпал из рук.

– Милота был здесь? – нерешительно прошептала она. Гюбнер отступил шаг назад, нахмурил брови и сердито взглянул на племянницу.

– Какой Милота? Что ты там городишь? Кунц Лейнхардт приходил просить твоей руки для его сына Гинца, которому он купил чудный пивоваренный завод у Клопера. Я дал свое согласие; ведь лучше и почтеннее партии, чем этот молодой и богатый малый, нам и ждать нечего!

Марга побледнела и прислонилась к спинке стула. Нервная дрожь пробежала по ее телу, а глаза были широко раскрыты и в них читался ужас. Мать бросилась к ней и усадила ее.

– Ах, брат Иоганн, разве можно так вдруг объявлять молодой девушке подобное известие, – с упреком сказала она. – Я полагаю, прежде всего, надо бы Маргу спросить, нравится ли ей Гинц Лейнхардт.

– В самом деле? Как же это я мог предвидеть, что у твоей дочери сидит в голове какой-то Милота, а что моя невестка будет пренебрегать одним из благороднейших бюргеров Праги, – ядовито прошипел Гюбнер. – Довольно глупостей, – строго продолжал он. – Я совершенно серьезно у тебя спрашиваю, какое отношение имеет к свадьбе племянницы это проклятое славянское имя? Что это за Милота и как ты могла покрывать любовную связь этой дуры с чехом.

Луиза Гюбнер с достоинством выпрямилась.

– Ты должен был бы сообразить, что я никогда не стану прикрывать любовную связь, – она подчеркнула слова, – но знаю, что Марга любит молодого рыцаря Милоту Находского, племянника мюнц-мейстера Змирзлика, и любима взаимно. Я не вижу причины, почему молодой дворянин, красивый и богатый, не может быть партией для твоей племянницы, по крайней мере, столь же подходящей и желательной, как и сын мясника Лейнхардта.

– А я тебе говорю, что всякий трубочист-немец, в моих глазах, выше любого чешского рыцаря. И никогда, слышишь ли, *никогда* не потерплю я, чтобы кто-нибудь из этих мерзких славян входил в мою семью! Забыла, значит, что ты – вдова Лютца Гюбнера, которого убили чехи, и теперь готова отдать дочь за одного из них!

– Ничего не забыла! Но не могу же я ненавидеть безвинного за преступление, совершенное каким-нибудь негодяем, и жертвовать этой ненависти счастьем дочери, – отвечала она, глядя по головке прижавшуюся к ней Маргу.

– Полно болтать пустяки! Марга выйдет за Гинца Лейнхардта, которому я дал слово; а богатый жених живо заставит ее забыть Милоту с дырявым карманом. Завтра вечером вся семья Лейнхардтов будет у нас праздновать помолвку, – так позаботься, чтобы было подобающее угощение, А ты, Марга, не смей строить кислой мины Гинцу, когда он потребует у тебя поцелуя, как жених, – это его право. Вот вам мой приказ!

Марга вскочила, точно ее хлестнули.

– Никогда! Никогда в жизни я не позволю целовать себя Гинцу, – грубому, отвратительному! Он мне противен! – вскричала она вне себя.

Лицо Гюбнера стало лилово-багровым, жилы на лбу надулись, и маленькие глаза его забегали от ярости. Как коршун, бросился он на Маргу, схватил ее за руку и стиснул так, что она вскрикнула.

– Если ты посмеешь меня ослушаться, – с расстановкой шипел он сквозь зубы, изо всей силы тряс ее руку, – и опозоришь меня перед Лейнхардтами, я тебя отколочу перед всеми, и ты сгоришь со стыда, негодная девчонка! Так вот как ты платишь мне за мои благодеяния, – бесчестьем и любовными похождениями с нашим врагом! Берегись и не доводи меня до крайности! Если завтра ты не встретишь приветливо Гинца и не дашь себя поцеловать, то вы обе

с матерью горько пожалеете об этом. Теперь ступай и помни мои слова и, Бог мне свидетель, что моя воля непреклонна.

Марга ничего не отвечала; она положительно онемела от ужаса, и мать скорее увела ее.

## Глава 8

В 1391 году богатый пражанин Крыж<sup>26</sup> и любимец Вацлава, рыцарь Ян из Мюльгейма, основали в Старом городе, неподалеку от коллегии Лазаря, Вифлеемскую часовню, предназначив ее исключительно для проповеди на чешском языке. Часовня<sup>27</sup> представляла собою большое сводчатое, каменное здание и могла бы смело называться церковью, так как вмещала до трех тысяч человек, хотя, конечно, она была недостаточна для громадной толпы, жаждавшей послушать знаменитых проповедников. Первым ее капелланом был Ян Прахатницкий, вторым – Стефан Колинский, а с 1402 г. этот важный пост занимал Ян Гус. Его горячая проповедь, в связи с громадной популярностью, создали из Вифлеемской часовни центр народного и религиозного движения Чехии. Проповедь Гуса, будившая народное сердце и разум, сковала столь неразрывную нравственную связь, такое единение между ним и народом, которые силой своей подняли впоследствии всю Чехию на отмщение за казнь народного любимца.

Кафедра, с которой знаменитый оратор, мученичеством запечатлевший проповедываемую им истину, громил пороки современного ему духовенства и общества, была четырехугольной формы, простая, сколоченная из сосновых досок. Попасть на нее со стороны слушателей было нельзя, а только изнутри, мимо ризницы, где хранилось облачение, и находилась рака, содержавшая, по преданию, останки одного из убиенных Иродом невинных младенцев.

За ризницей была лестница, которая выходила в коридор, откуда был ход на кафедру, а с левой стороны этой двери стояла деревянная скамья, где обыкновенно садился проповедник, прежде чем появиться перед слушателями.

В глубине коридора, другая лесенка, узкая и крутая, вела в следующий этаж, где находилась комната, или вернее, келья Гуса.

В этой чисто – монашеской обители, освещенной парой крошечных окон, мебели было мало; зато, наоборот, груды книг и рукописей на столе указывали, каким неутомимым тружеником был хозяин. В настоящую минуту ученое перо покоилось в бездействии, и Гус лежал, тяжело больной, на кровати, с повязкой на голове.

Если бы не произведенное болезнью истощение, он мало изменился за последнее время. Тонкое, бледное лицо его, с обычным грустным выражением, похудело от работы и подвижнической **жизни**; большие глаза, задумчивые, пока в них не вспыхивал огонь священного негодования и религиозного восторга, по-прежнему смотрели кротко.

В тот же январский день, когда разыгралась тяжелая сцена между профессором Гюбнером и его племянницей, – в комнатке Гуса, у его постели собрались трое его приятелей. Один из них, сидевший у изголовья и, время от времени, возобновлявший компрессы, был Иероним, другой – Николай Лобковиц, верховный нотариус горного управления Чехии, а третий – Вокс Вальдштейн.

– Милый мистр Ян, – говорил Лобковиц внимательно слушавшему его Гусу, – не принимайте к сердцу суровые слова короля. Гнев его, клянусь вам, совершенно прошел, и наши дела идут не так уж плохо.

– Королева очень огорчена, что лишилась своего духовника и даже поручила мне передать от ее имени несколько кувшинов лучшего вина. Я вам пришлю их вечером, – с улыбкой подтвердил Вокс.

– Поблагодари, пан граф, ее величество за неизменное, милостивое ко мне внимание и передай, что я чувствую себя лучше и скоро надеюсь, с помощью Божьей, приняться за службу при ее особе, – слабым голосом отвечал больной.

---

<sup>26</sup> Monument. Univers. Prag.

<sup>27</sup> Ernest Denis, стр. 62.

– При добром желании все пойдет хорошо, мистр Ян! А теперь выслушайте новости, которые я принес, – начал опять Лобковиц. – Я уже сказывал вам, что королевский гнев скоро утих, и знаю из верного источника, что успех и торжество, которыми нагло хвастают немцы, вызвали неудовольствие короля, также как их сопротивление его воле в деле „послушания” Григорию XII. Сверх того, наше дело нашло себе сильных и ревностных пособников в лице французского посольства, с главой которого я вчера беседовал. Приор Солон<sup>28</sup> сказал мне, что требование чехов совершенно справедливы, так как император Карл дал нашему университету статуты, одинаковые с парижским, а там местные уроженцы обладают тремя голосами против одного, предоставленного иностранцам.

– Конечно! И не только обычай, но и законы канонический и гражданский согласны в том, что чехи в королевстве чешском должны быть первыми, также как французы во Франции и немцы в своих землях, – оживился Гус, приподнимаясь и садясь на постель. – Что за польза была, если бы чех, не знающий немецкого языка, был приходским настоятелем или епископом в Неметчине? Поистине, от него было бы столько же проку, сколько для стада от пса немого, не умеющего лаять! Так по какому же праву немцы хозяйничают у нас? Или они рассчитывают на наше вечное молчание и подчинение? Меня обвиняют, я знаю, в ненависти к ним. Бог мне свидетель, что этого нет, и что я предпочитаю честного немца негодному чеху, будь он даже моим братом! Но чувство справедливости возмущается, когда видишь, что прирожденным сынам страны приходится подбирать крохи, падающие с того самого стола, за которым они должны были бы сидеть господами. Он остановился и бессильно опустил на подушки.

– Не волнуйся же так, – уговаривал его Иероним, пожимая его руку. – Мы знаем, что душа твоя ненавидит только порок. Немцам же, которые хвалятся тем, что они наши учителя и принесли нам свою науку, я напомним когда-нибудь слова послание к Галатам:<sup>29</sup> „наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного”. Значит, когда эта пора настала, все должны подчиниться ему, он – сын и наследник по закону Божественному. И этот срок назначенный наступил: Чехи перестали быть детьми неразумными. Прочь опекуны, искавшие только своей выгоды, дайте место „сынам дома сего”!

– Ты мог бы прибавить и то, что сказал Христос: „не следует брать хлеб у детей и бросать его псам”, – пылко заметил Вальдштейн. – Как ненавижу я немцев, наглых, бесчестных, которые, в своих личных целях, злоупотребляют вольностями, дарованными студентам!<sup>30</sup> Сколько их теперь приезжает в Прагу для торговли, – купцы и просто приказчики, – и все записываются в университет, только для того, чтобы воспользоваться предоставленными ему льготами, облегчающими им пребывание здесь!..

– Я думаю, что нам пора уже уходить. Нашему уважаемому мистру необходим отдых, – сказал Лобковиц, вставая и пожимая больному руку. – Будьте спокойны и надейтесь! Я не забуду указаний, которые вы мне дали, и если нам удастся получить от короля три голоса для чехов, я вас немедленно извещу об этом.

Гус горячо благодарил его, а затем гости простились и вышли, в сопровождении Иеронима, обещавшего, однако, больному вернуться к нему через час или два.

Прошло около полчаса времени.

Гус был один и погружен в полудремоту, как вдруг дверь тихонько приотворилась, и на пороге показался Светомир. Но тонкий слух больного уловил шорох; он открыл глаза и спросил:

– Кто там?

---

<sup>28</sup> Ernest Denis, стр. 64.

<sup>29</sup> Гл. IV. Ст. 1 и 2.

<sup>30</sup> Palacky. «G. v. B.», III, стр. 237.

– Это я, отец Ян, – Светомир Крыжанов, – ответил юноша, подходя и целуя протянутую ему руку.

– Здравствуй, дитя мое! Каким ветром занесло тебя сегодня ко мне?

– Я пришел сообщить вам важное, принятое мною решение, и пока я не буду знать, одобряете ли вы меня, ни сердце, ни совесть не дадут мне покоя.

– Говори и я тебе отвечу по моему крайнему разумению.

Светомир придвинул к постели скамейку и кратко изложил обстоятельства, побуждающие его бежать из родной страны и перейти на службу в Польшу.

– Завтра, на рассвете, мы с Жижкой покидаем Прагу, и мне ужасно было бы уезжать с мыслью, что вы, отец Ян, считаете меня отступником Господнего воинства, – нерешительно закончил он свой рассказ.

– Напрасно ты так думаешь! Наоборот, я одобряю тебя; с твоей стороны было бы преступно братья за дело, к которому у тебя нет призвания. Плохих священников у нас и так довольно, и поступает мудро тот, кто, не чувствуя в себе сил быть добрым пастырем, делается храбрым воином. Иди, сын мой, без страха по твоему новому жизненному пути и помни, что во всяком звании можно делать добро, быть честным, человечным и исполнять повеление Божии.

– Благодарю вас за доброе слово. Никто не понимает слабости людские, как вы, с божественною кротостью, как истинный служитель Божий, – прошептал растроганный Светомир, становясь на колени у постели. – Благословите меня, отец, чтобы Господь дал мне силы остаться твердым во всех испытаниях, которые готовит мне судьба.

Гус положил обе руки ему на голову и углубился в горячую молитву.

– Да благословит тебя Господь, дитя, и да направит по пути добродетели и правды, да поддержит тебя в минуты тоски и отчаяния, чтобы вера твоя никогда не колебалась и, если все покинут тебя, пусть она одна тебя подкрепит и приведет к доброй пристани.

Оба они были взволнованы. После краткой беседы, в которой Светомир изложил свои планы на будущее, он, наконец, простился и ушел.

После долгих лет запустения и безмолвия, старый замок Рабштейн снова приютил под своей кровлей молодую хозяйку. Месяцев шесть, как Ружена поселилась вновь в родовом гнезде, с подругой своей Анной и вернопреданными Ииткой и Матиасом. Жила она в полном уединении, выезжая редко из замка и никого не принимая.

Все предшествовавшее время она жила в замке Вальдштейн, за исключением двух зим, которые опекуны ее проводили в Праге.

Графиня, поглощенная своею чрезмерною набожностью и очень расчётливая, сторонилась от общества; сверх того, она нисколько не желала показывать в свет Ружену, пока та не выйдет замуж за сына, боясь, – и не без основания, – чтобы красивая и богатая наследница не нашла себе поклонника, который мог бы оказаться опасным соперником Вока. Подозрительно смотрела она даже на ребяческую привязанность Ружены к Светомиру и не успокоилась, пока не выпроводила того в Прагу готовиться к поступлению в университет.

Разлука с другом детства причинила Ружене большое горе, и ее угнетенное состояние духа усугубило недомогание, которое она чувствовала после сильной простуды на охоте, куда ее взяли, чтобы развлечь.

Несколько месяцев по отъезде Светомира, она так тяжело заболела, что даже опасались за ее жизнь.

Хотя Ружена затем и поправилась, но здоровье ее пошатнулось, и врач настоял на том, чтобы свадьба была отложена на год или два.

Ждали только возвращение Вока из Франции, куда он ездил кутить и веселиться, как вдруг графиня неожиданно получила известие о выпавшем ей наследстве и решила немедленно

ехать за ним в Италию. Ружену она хотела взять с собой, но этот план был не по душе молодой девушке.

Графиня, с первой же их встречи, произвела на нее отталкивающее впечатление, а затем ни время, ни предупредительность, ни ласки не могли победить инстинктивного отвращения ее к тетке. Да и итальянская родня графини, наезжавшая иногда в Чехию, была донельзя противна Ружене, и она нисколько не жаждала пользоваться ее гостеприимством и обществом в течение нескольких месяцев. Поэтому она объявила, что желала бы, на время отсутствие тетки, пожить в своем родовом замке, которого не видела со смерти отца, чтобы молиться на его могиле и вообще провести в уединении последние месяцы своего девичества.

Опекун беспрепятственно дал свое согласие: страна в это время была относительно спокойна, замок прочно укреплен и снабжен достаточной стражей и, к тому же, находился вблизи Праги, так что граф мог наезжать туда в свободное от королевской службы время.

С радостью увидела вновь Ружена места, где протекли счастливейшие годы ее жизни, где каждый предмет напоминал ей обожаемого отца.

В светлое, но холодное январское утро, в той самой комнате, которая некогда служила рабочим кабинетом покойному барону Рабштейну, обе подруги сидели подле окна.

Анна прилежно работала над белой шелковой пеленкой на престол, зашивая разноцветными шелками виноградную ветку. Это была хорошенькая, молодая девушка, свежая и цветущая; черные волосы заплетены были в две густые косы и спускались до колен.

Небольшим орлиным носом и энергичным выражением рта она напоминала несколько брата, но зато большие темные глаза, радостные и кроткие, не походили на мрачный и суровый взгляд Жижки.

Ружена ничего не делала; откинувшись на высокую спинку своего кресла, она сидела, задумчиво глядя из окна на далеко расстилавшуюся зимнюю картину.

Она оправдала ожидание и стала красивой, очаровательной девушкой, высокой и стройной, с бледно-матовым лицом и поразительно прекрасными, большими, темно-голубыми глазами с поволокой и смелым взмахом бровей.

Густые волосы сохранили с детства свой золотистый цвет и красиво выделялись на фоне ее темного синего платья.

Ее стройное, молодое тело, бледно-розовое, гладкое, как фарфор, лицо, пышные кудри и ясный, лучистый взгляд напоминали те бестелесные, одухотворенные образы, которые создавала восторженная кисть фра-Анджелико.

Рядом, на стуле, лежала, свернувшись на подушке, ее любимая собачка, и прекрасная, точно выточенная рука Ружены машинально ласкала своего любимца.

Вдруг мечтательный взор Ружены ожил и она выпрямилась.

– Два всадника едут в замок. Посмотри, Анна, кто бы это мог быть? – спросила она, пристально заглядывая в окно. Подруга отодвинула пяльцы и тоже подошла к ней.

– Они еще далеко и так закутаны в плащи, что трудно различить. Может быть, твой жених шлет тебе письмо с нарочным.

– Сомневаюсь, чтобы Вок тратил на это время, – усмехнулась Ружена. – Он теперь при дворе и, конечно, у него в голове не то. Впрочем, это меня нисколько не огорчает, и я вовсе не жажду его видеть или иметь от него известия. Мне так здесь хорошо, что я хотела бы тут остаться. А ты, Анна?..

– Мне хорошо везде, где ты, и мое искреннее желание никогда с тобой не разлучаться, – ответила та, нежно целуя подругу.

Всадники исчезли за поворотом дороги, но несколько минут спустя, призывный звук рога у ворот возвестил прибытие гостей.

Хотя и очень заинтересованные тем, кто именно приехал, Ружена с Анною выжидали доклада, и, когда маленький паж прибежал, запыхавшись, и назвал панов Яна из Троцнова и Светомира Крыжанова, обе они бросились навстречу приезжим.

Анна кинулась брату на шею, и Ружена чуть было не последовала ее примеру относительно Светомира, но эти три года разлуки, так изменили ее друга детства, что она в замешательстве остановилась и, наконец, протянула ему обе руки, которые юноша многократно прижал к губам.

– Боже, как я рада тебя видеть! У меня так много есть о чем поговорить и расспросить тебя. Погоди же, милый, – сказала она с улыбкой, освобождая свои руки, – мне надо еще поздороваться с твоим спутником!

После обмена приветствий, Ружена весело обратилась к подруге со словами:

– Позаботься о своем брате, Анна! Прикажи приготовить ему и Светомиру по комнате, и вели подать сейчас же путникам закусить, а к обеду не забудь прибавить что-нибудь посытнее. Да перейдемте в столовую.

После плотного обеда молодые хозяйки и гости разошлись попарно. Анна хотела поговорить на прощанье с братом, а Ружена расспросить Светомира. Как и в детстве, увела она его в свою комнату и усадила у камина.

Первое впечатление, под влиянием которого близкий человек показался чужим, мало-помалу сглаживалось.

Заметив пристальный взгляд Светомира, смотревшего на нее с нескрываемым восхищением, она в упор спросила его:

– Что это ты так внимательно меня разглядываешь?

– Потому что не могу тобой налюбоваться. Боже, как ты хороша, Ружена! Совершенный ангел, и я ищу только крыльев.

Ружена расхохоталась.

– Кроме этих пустяков, лучшего-то у тебя ничего не нашлось для меня? Чтобы не отстать от тебя в любезности, и я скажу, что ты вырос, похорошел и что пушок будущих усов очень к тебе идет. Ну, будем говорить о другом! Скажи мне лучше, каким образом очутился ты здесь с Яном?

Тогда Светомир рассказал, что вынуждает его бежать в Польшу.

– Я и воспользовался случаем, чтобы проститься с тобой, может быть, навсегда. Кто знает, что ждет впереди бедного солдата? А что ты думаешь о моем плане?

Во время его рассказа, на выразительном лице Ружены отражалось переживаемое ею волнение, как она ни сдерживала себя.

– Что говорить о вечной разлуке! – начала она, стараясь придать голосу веселый тон. – Краков не на краю света и не все же погибают на войне. Я глубоко убеждена, что мы с тобой свидимся, и вообще я сочувствую твоему решению. Быть священником, вроде отца Илария, – не стоит, а такого, каков отец Ян, из тебя, я думаю, все равно никогда бы не вышло.

– Совершенная правда! Даже мысль состязаться с ним кажется мне кощунством, – горячо возразил Светомир. – Мистр Ян, это – святой, у которого знание равно его добродетели! Все, что есть в Праге бедного, страждущего, несчастного, – бежит к нему, и для каждого у него найдется помощь и утешение. Королева благоговеет перед ним, вельможи уважают и почитают его, а ты думаешь, он этим гордится? Нимало! Он скромнен, кроток, доступен всякому и равен в обращении с богатым и бедным. А какой он проповедник! Его речь волнует и зажигает: слушая его, совесть содрогается, становится стыдно своей духовной нищеты и всеми силами стремишься сделаться лучше. А когда он начинает громить пороки людей, без различия их положение, Боже мой! Так и кажется, что сам Архангел Михаил готов поразить демонов! Мы с Бродой ни одной его проповеди не пропускали, да и королева бывает частенько в Вифлеемской часовне.

– Я всем сердцем люблю и уважаю мистра Яна. В эти две зимы, что мы провели в Праге, он наставлял меня в вере и дал мне первое причащение. Мой опекун и Вок тоже высоко чтут его и говорят, что он – добрый гений Чехии.

– Бесспорно! Он умеет пробуждать в душе чувство любви к родине! А теперь отец Ян даже работает над улучшением чешского правописания<sup>31</sup> чтобы наш язык стал так же изящен и гибок, как латинский, и немцы уже не говорят, что это варварское наречие.

Попав на эту тему, Светомир рассказал весь ход борьбы чехов в университете.

Так незаметно прошло время до ужина, после которого все разошлись по своим комнатам.

Но Ружена, прежде, чем лечь спать, призвала к себе Матиаса и поручила ему приготовить для Светомира пару добрых верховых коней и полное вооружение, которое она сама выберет из вещей покойного отца. Затем, она прошла с ним в тайник, около библиотеки, где хранились спрятанные когда-то сокровища.

Приказав насыпать деньгами две переметные сумы, она стала разбираться в оружии и золотых вещах, откладывая для Светомира кинжал с осыпанной камнями рукоятью, меч с итальянским клинком, и серебряный, богатой работы, кубок.

Когда она раскрыла шкатулки с драгоценностями матери и, при свете факела Матиаса, бриллианты, рубины и изумруды заиграли тысячами разноцветных огней, Ружена тихо засмеялась.

– Как досадовали мой опекун, и особенно графиня, на пропажу этих ящичков! Сколько убили они времени на их розыски!..

Она брала и пропускала сквозь пальцы белоснежные, длинные нити жемчуга.

– А они наверно украшали бы теперь благочестивого епископа Бранкассиса или кардинала Коссу, если бы ты не был столь дальновиден, славный мой Матиас, – усмехнулась она.

Выбрав из шкатулки увесистую золотую цепь, украшенную камнями, пряжку на шляпу и кольцо с сапфиром, она вышла из тайника, а сияющий от счастья Матиас снова замкнул его.

На следующее утро Ружена с Анной, при содействии Иитки, занялись укладкой предназначавшегося Светомиру чемодана, который они набили бельем, платьем из запасов покойного барона и разными безделками. Остальная часть дня прошла весело в разговорах и планах на будущее, когда Светомир вернется героем.

После ужина, поданного ранее обыкновенного, Анна увела брата, чтобы передать ему подарки Ружены, а молодая хозяйка повела Светомира в свою комнату, где его ожидала приятная неожиданность.

Счастливым и тронутым вниманием, рассматривал он вооружение, платье, драгоценности и тяжелые переметные сумы, которые снимали с него всякую заботу о средствах к существованию; опустившись затем на колени, он благоговейно прижал к губам руку Ружены.

– Как мне отблагодарить за великодушие, с которым ты пришла мне на помощь, окружая меня довольством и облегчая мне жизненный путь! – прошептал он со слезами на глазах.

– Поступая во всех случаях жизни согласно повелениям Господним и законам чести! Оба мы с тобой сироты и, если Бог благословил меня богатством, я счастлива, что могу помочь в трудную минуту другу и товарищу детства. Я не хочу, чтобы ты, Светомир, оказался хуже других, а я знаю, что люди станут больше уважать тебя, если ты будешь наряднее одет, а в кармане будет туго набитый кошелек.

– Клянусь, что я буду тебя достоин! Твой светлый образ будет мне путеводной звездой, воспоминание о тебе – последней мыслью, если мне суждено погибнуть в бою. Каждый день я стану молиться за твое и Вока счастье, чтобы Бог благословил ваш союз.

---

<sup>31</sup> Ernest Denis, стр. 67, прим. 1.

Ружена задумчиво слушала его, но при последних словах улыбнулась и, придвинув кресло, указала на него Светомиру.

– Что ты болтаешь? Тебе известно, не хуже меня, что наш брак совершится не по любви, а по семейным соображениям.

Не то досада, не то насмешка слышалась в ее голосе.

– Вок меня не любит, да и я к нему ничего не питаю. Говорят, любовь – дар божественный, ниспосылаемый нам Господом; но до сегодня ни один мужчина не внушал мне ее и я сильно сомневаюсь, чтобы Вок пробудил это чувство во мне.

– Отчего? Вок красив, обаятелен и рыцарски благороден, а что он полюбит, в том не может быть и тени сомнения. Да кто же может спокойно глядеть на тебя и не восхищаться?! Особенно он, которому ты будешь принадлежать. И как ему не гордиться тобой и не влюбиться, когда во всей Праге не найти женщины, которая могла бы поспорить с тобой!

Ружена захохотала. Положим, она знала, что красива, но, по свойственной ей наивности и скромности, ей и в голову не приходило кичиться этим даром небесным. Теперь ее забавляло то страстное обожание, которое слышалось в словах и светилось во взгляде ее друга детства.

Она положила обе свои руки на плечи юноше и лукаво заглянула ему в лицо.

– Та, та, та! Уж и ты не влюбился ли в меня, что поешь мне такие гимны? – насмешливо спросила она.

– Не смейся надо мной, Ружена! Куда такому бедняку, как я, поднимать на тебя глаза, – ответил ей Светомир, краснея.

– Не потому, что ты беден, а потому, что подобная любовь была бы для тебя тяжелым бременем и помехой в жизни!.. Да, к счастью, ничего этого и нет, – заметила Ружена, становясь серьезной. – Сбереги для меня, Светомир, привязанность брата, как и я останусь тебе преданной сестрой. Помни, что у тебя здесь есть испытанный друг, к которому ты можешь обращаться в трудную минуту, и всегда найдешь у него утешение, добрый совет, а если понадобится, то и материальную помощь. Но если, через несколько лет, ты приедешь повидаться со мной, и сердце твое будет свободно, всмотришь хорошенько в Анну, милую подругу нашего детства, и, может быть, ты примешь из моих рук ее в невесты.

Юноша был поражен, смешался и некоторое время молчал.

– Все, что исходит от тебя, сулит мне счастье, – сказал он, наконец, решительно. – Если я вернусь в Прагу, то постараюсь полюбить ту, которую ты мне прочишь в жены.

– Будем надеяться, что будущее обоим нам даст счастье. А теперь иди отдыхать, тебе на завтра предстоит длинный путь. На прощание, перед долгой разлукой, обними меня, как делал это прежде, когда мы были детьми, – закончила взволнованная Ружена, целуя его.

Наутро путники уехали. Светомир молодцевато вскочил на чудного коня, которого подвел ему Матиас, попробовал его на дворе, и остался очень доволен. При прощанье он испытующе взглянул на Анну и нашел ее на самом деле красивой; хотя, конечно, до Ружены ей было далеко.

Из того же самого окна, откуда Ружена и Анна заметили приближение всадников, провожали они теперь своих гостей долгим, прощальным взглядом, пока те не скрылись вдали.

Анна молча принялась за работу, а Ружена взяла было свой молитвенник, но не читала, а украдкой наблюдала за грустившей подругой, которая работала рассеянно, утирая набегавшие слезы.

– О чем ты плачешь, Анна? Ведь брат твой скоро вернется, – неожиданно спросила Ружена.

Анна вздрогнула.

– Я все-таки боюсь за Янека, – дороги не совсем безопасны, – в смущении ответила она.

Ружена нагнулась и ласково потянула ее за ухо.

– И тебе не стыдно лгать? Пан Ян не повинен в твоих слезах, которые льются у тебя из-за разлуки с Светомиром! Я уж давно замечаю, что он тебе нравится, но он готовился к пострижению, и потому об этом не стоило и разговаривать. А теперь другое дело, он – воин и, когда вернется домой, то почему бы ему и не полюбить такую красивую девушку, как ты? Я тебе дам приданое и вы поженитесь.

– Ах! Не говори, Ружена! – вспыхнула Анна. – Когда Светомир вернется героем, здесь найдется немало красивых и богатых девушек, которые его полюбят; а меня он даже и не заметит. К тому же ты прекрасно знаешь, что он любит тебя!

– Ревнивая! Да ведь я же тогда буду замужем за Воком, и на что Светомиру такая любовь? Я не Мадонна, чтобы люди довольствовались молчаливым обожанием меня. Берегись сама, чтобы какой-нибудь богатый пан в Праге не посватался к прекрасной Анне из Троцнова, тогда бедняга Светомир останется не причем!

– Это не опасно! Светомир слишком хорош собой и добр, чтобы его забыть. Но неужели он тебе не нравится? Или ты находишь, что Вок красивее? Он ведь гордый и заносчивый; а когда рассердится, глаза у него такие злые, пронизывающие, точно шпаги. – Б-р-р-р! Я боюсь его! А тебе не страшно быть его женой?

Ружена откинула на спинку кресла свою красивую головку, закрыла глаза и задумалась. Как в панораме, принеслась перед ней вся ее жизнь в доме Вальдштейнов и в памяти ее воскресли отношение к жениху.

Полного согласия, близости и нежности между ней и Воком не было и в помине. Сперва разница лет, затем характер юноши постоянно отдаляли их друг от друга. Он был добр, внимателен к своей маленькой невесте, засыпал ее подарками и даже играл с нею; но ребенок чувствовал, что он снисходил к этим играм, что они ему скучны и что он не такой товарищ, как Светомир.

Затем обстоятельства разлучали их на целые месяцы, и теперь, вот уж почти два года, как они не видались. Но воспоминание о женихе ее не трогало, и она нимало не стремилась его увидеть.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.